

Л
Е
Н
И
Н
Б
У
Р
Г
Ъ



АЛЕКСАНДР
ЯБЛОНСКИЙ

Г-НА
ЯБЛОНСКОГО

Александр Яблонский
Ленинбургъ г-на Яблонского

«Водолей»

2018

УДК 84(2Рос=Рус)6
ББК 821.161.1

Яблонский А. П.

Ленинбургъ г-на Яблонского / А. П. Яблонский — «Водолей»,
2018

ISBN 978-5-91763-419-7

Александр Яблонский – русский писатель, профессиональный музыкант; с 1996 года живет в Бостоне; автор книги «Сны», романов «Абраша» (лонг-лист премии «НОС», 2011) и «Президент Московии», повестей, рассказов и научных статей. Трудно определить жанр «Ленинбурга»: это и путешествие из Москвы в Петербург (если это, конечно, Петербург...), и путешествие во времени – в «золотой», по мнению писателя, век жизни любимого, уже ушедшего, «китежного» города (а вместе с тем и его – автора – жизни): в 50-е – 60-е годы XX столетия. Это – психологическая энциклопедия времени и места, безупречно передающая аромат, вкус, звучание эпохи. Она профессионально точна, особенно во фрагментах, посвященных музыкальной и – шире – культурной жизни города, его истории и топографии, и, вместе с тем, фантасмагорична: автор непринужденно перемещается во времени, выпивая бокал вина в баре в графом Аракчеевым, присутствуя при экзекуции первого Генерал-полицмейстера Петербурга или отправляясь туда, куда смертным и вовсе хода нет... Главное же: ее построение и дух пронизаны самым важным для автора жизненным ощущением – чувством Свободы.

УДК 84(2Рос=Рус)6
ББК 821.161.1

ISBN 978-5-91763-419-7

© Яблонский А. П., 2018

© Водолей, 2018

Содержание

Поезд	12
Конец ознакомительного фрагмента.	101

Александр Яблонский Ленинбургъ г-на Яблонского

*Жизнь наша в старости – изношенный халат,
И совестно носить его, и жаль оставить...*

Петр Вяземский

*А я один среди чуждых мне людей,
Стою в ночи, беспомощный и хилый.*

Вильгельм Кюхельбекер

*... но в памяти моей такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит...*

Давид Самойлов

Данный текст оказался в наших руках совершенно случайно. Детали не существенны. Да их – этих деталей – собственно говоря, и нет. Переслали файл, и точка. Кто переслал и по какой причине он (она) это сделал(а), не имеет никакого значения. В отличие от известного господина Максудова, который сиганул с моста вниз головой в реку, если не ошибаемся, под названием Днепр (это в Украине), автор данного опуса жив и, надеемся, находится в добром здравии. Претензий с его стороны по поводу утечки информации в виде этого сочинения на сей момент не поступало. По этой причине текст, в соответствии с действующим законодательством, был принят к рассмотрению.

Автор – некий господин Яблонский А. П. – человек, видимо, небесталанный и, следовательно, не вполне, скажем мягко, адекватный. То есть не слишком нормальный. Поэтому текст показался нам занятным, хотя, подчеркнем сразу, с основными его постулатами, определениями и конкретными выражениями мы категорически не согласны. Однако некоторые факты и наблюдения могут показаться занимательными и даже полезными для узкого круга специалистов в области аномалий человеческой психики, особенностей народного творчества, а также для любителей предаться легкой ностальгии по временно ушедшей Советской Родине. Отдельные были и небылицы из истории Ленинграда середины XX века, а также других веков, в преломлении фиолетового сознания и незамутненного интеллекта могут показаться забавными. Всё это послужило причиной для принятия решения о публикации данного произведения.

Текст печатается с орфографией, пунктуацией и стилистическими особенностями подлинника. Названия у полученного документа не было, поэтому редакция предпослала свой вариант заглавия (*Ленинбургъ*), как, кажется, более-менее подходящий содержанию предлагаемого сочинения. Определить жанр рукописи – роман, повесть, эссе, мемуары, записи и т. п. – редакция не смогла. Ввиду того, что г-н Яблонский А. П. не пожелал поместить свою фамилию на титульном листе сочинения, а также не претендует на авторское вознаграждение, произведение издается под фамилией его редактора.

В тексте, согласно нормам современного русского языка, были изъяты два слова, оскорбляющие честь, достоинство и нравственное состояние современного человека – патриота России. Первое слово – имя существительное, обозначающее некую субстанцию, неотделимую от жизнедеятельности человеческого организма и имеющую свойство иногда перемещаться в проруби. Второе – глагол, связанный с взаимодействием двух разнополюх организмов; взаимодействием, предшествующим деторождению (за 9 месяцев до). В данном контексте этот глагол, употребленный, надеемся, в переносном смысле, нес негативную информацию об отношении автора к власти и системе, существующим в Необозначенной стране. Опущены также сомнительные исторические ассоциации, надуманные аналогии и ненужные аллюзии. Изъят

фрагмент, размером примерно полторы страницы машинописного текста, связанный с воспоминаниями автора о новинках русской литературы рубежа 70-х–80-х годов, в частности, о романе В. Аксенова «Остров Крым». Выбелены некоторые абзацы, посвященные (...), равно как (...) и подобным событиям и высказываниям по этому поводу Г-на (...).

Редакция благодарит литературоведов III Отделения, служащих ГЛАВЛИТа, ГЛАВ-ПУРа, Человеколюбивое Общество Активистов Веры при Московской Епархии и лично Председателя Синодального совета по вопросам взаимоотношений, офицеров Общественного Совета по вопросам нравственности русского языка при Президенте РФ, Общественную Палату при Федеральной Службе Госбезопасности РФ, а также волонтеров (добровольцев) ЧК (Чрезвычайной Комиссии) Министерства искусств и культуры и лично товарища надворного советника Александра Васильевича Никитенко за разрешение опубликовать в экспериментальном порядке предлагаемый текст.

Дм. Грчк.

*Я не буду целовать холодных рук.
В нашей осени никто не виноват.
Ты уехал, ты уехал в Петербург.
А приехал – в Ленинград.*

Популярная песенка начала XXI века

В те времена, когда Сапсаны ещё не ходили,
а на индийских фильмах плакали,
когда Вася Ахтаев, он же – «Вася Чечен»,
игравший с 47-го по 57-й год
за «Буревестник», естественно, в Алма-Ате,
был самым высоким баскетболистом в мире и
самым популярным спортсменом в СССР,
когда новую мебель, покрытую лаком, было не достать,
а старую – без лака – не ставили
симметрично или по периметру,
а выбрасывали, чтобы купить польскую «стенку»
из опилок и пластмассы,
когда девушки надели брюки,
а юноши отпустили волосы до плеч,
бабушки помнили живого Блока,
а отцы – линию Маннергейма,
в те наивные времена, когда в наших сердцах жили
бессмертные имена Героев Советского Союза Ахмеда Бен Беллы и
Гамаль Абдель Насера, а также верных друзей —
принца Нородома Сианука, Кваме Нкрума и «брата» Сукарно,
когда стояли в очередях,
чтобы взять в библиотеке, забытой Богом и Органами,
зачитанные номера (9–11) «Нового мира» за 1956 год,
а на кухнях расшифровывали шестую слепую копию
стенограммы выступления Паустовского,
когда «Рок вокруг часов» вытеснил «Подмосковные вечера»,
а Билл Хейли со своими «Кометами»
сокрушил в сознании молодежи дуэт Бунчикова и Нечаева,
когда на каждом углу стояли автоматы с газированной водой,

и все пили, не думая о заразе, из одного стакана,
который аккуратно полоскали,
но не догадывались уносить с собой,
когда регулировщики были в белых перчатках
и виртуозно манипулировали своими жезлами,
за колбасой приезжали в Москву и Ленинград со всей страны,
колхозники узнали, что есть паспорта и про их души,
а высоко в небе пролетал советский
подмигивающий светлячок, и все очень гордились этим,
когда в отдаленных уголках Империи
с изумлением искали на глобусе такие названия, как
Суэцкий канал или Будапешт, а бородатые аристократы
вознамерились в Новогоднюю ночь
осчастливить свой танцующий народ;
в те удивительные времена, когда Битлз уже были,
а про Пражскую весну ещё не догадывались,
когда в гости ходили без приглашений, а от армии не косили,
так как это никому не приходило в голову,
когда ехали через весь город посмотреть
на телевизор с линзой, а не телевизор,
когда у нас были верные друзья,
и мы в 10-м классе ещё только неумело целовались с девочками,
когда никто не знал про ремни безопасности в машинах
и велосипедные шлемы,
когда в стране не было секса даже во время
Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве,
когда стали вешать портреты Хемингуэя, увлекаться Ремарком
и везли на трамвае картонный стаканчик с пепси-колой,
полученной на американской выставке,
чтобы дать попробовать родным этот чудо-напиток,
в те славные времена,
когда можно было спокойно сообразить на троих,
имея в кармане всего один рубль,
а великого поэта назвать свиньей,
в ГБ на допросах уже не били
и прекратили круглосуточный «конвейер»,
но насильно кормить гибким зондом с металлическим
наконечником
через нос или рот научились весьма даже виртуозно,
когда хулиганы часто оказывались джентльменами,
слово «орденоносец» ещё что-то значило,
дрались до первой крови и лежачего не били,
когда реабилитировали Мейерхольда и Михоэлса,
но Гумилева или Ходасевича упоминать было самоубийственно,
в те ясные призрачные патриархальные времена,
когда из Ленинграда в Сухуми ехали трое суток,
и после голодной России в Украине подносили к поезду
котелки с горячей отварной картошкой, посыпанной укропом,
малосольные огурцы и теплое молоко в крынках,

а ближе к Кавказу – стаканы с ароматной крупной земляникой,
вареную кукурузу, алычу,
после Псоу начиналась гостеприимная Грузия
с дивным домашним вином, шампанскими яблоками
и сулугуни в мамалыге,
когда привычны были имена Гилельса или Ойстраха на афишах
города,
но в трамваях уступали место старикам и беременным женщинам,
начинали ломиться в БДТ и одеваться у фарцовщиков,
когда вдруг стали обращаться к любому – даже к девушке –
«старик»,
и винные магазины работали до 11 вечера,
всех работниц пивных ларьков звали Клавами,
а в Лолиту Торрес влюблялись поголовно,
когда «Порккала-Удд» вернули Финляндии,
Порт-Артур – Китаю, а Крым – Украине,
бригадмилыцы разрезали узкие брюки у стилиг и всех остальных,
в застольях пили за свободу и здоровье Манолиса Глезоса,
про Раймонду Дьен забыли,
но звезда Анджелы Дэвис в СССР ещё не взошла,
когда к Новому Году закупали гуся и полусладкое шампанское,
Рыбников и Юматов были кумирами девушек и женщин,
а Гагарин их всех переплюнул,
когда ломбарды были забиты очередями,
трехпроцентный заем являлся неотъемлемой
частью бюджета каждой семьи
и Людмила Гурченко метеором ворвалась в «Карнавальную ночь»,
в те светлые времена, когда летними каникулами в деревне
ещё можно было прекрасно ехать на телеге,
лошадь шагала неторопливо, задумчиво,
сладко пахло конским потом, сеном, «лошадиными яблоками»,
пылью,
когда появились проигрыватели «Юность», и мы
с восторгом отплясывали бразильскую «Мамá, йо керо...»,
все напряженно следили за судьбой Мосаддыка, а затем Лумумбы,
шприцы кипятили и не выбрасывали, но СПИДа не было,
по радио хор Пятницкого пел «Кто его знает, чего он моргает»,
и продолжали возвращаться оставшиеся в живых строители
Беломорканала, Колымской железной дороги, Волго-Дона,
МГУ, Главного Туркменского канала,
Норильской железной дороги, Цимлянкой ГЭС,
канала имени Москвы, Сахалинского тоннеля
и других строек Великого Преобразователя Природы,
когда велосипед «Орленок» был мечтой всех мальчишек,
женские прически «Венчик мира» и «Вася, иди за мной»
завоевали сердца мужчин и женщин,
у молодых людей взлетал надо лбом кок,
война в Корее уже забывалась,
но в Южном Вьетнаме лишь разгоралась,

мороженое было вкусным, а деревья большими,
взрослые предпочитали вслух о политике не говорить,
но выпить граненую рюмку «Муската Прасковейского»,
а мы – то, что осталось,
в те чудные времена, когда верили честному слову,
играли в «дурака», в лапту и штандарт,
а взрослые болели преферансом,
отменили первоапрельское снижение цен
и жить стало лучше, спокойнее и веселее,
когда болели за Белоусову и Протопопова,
считали советских футболистов сильнейшими в мире,
а про Пеле слышали, но не верили, что такое бывает,
пытались танцевать буги-вуги, увиденные отцами на Эльбе в 45-м,
и рок-н-ролл, записанный «на костях»,
ещё помнили в магазинах северюгу горячего копчения
и семгу малого посла рядом с паюсной икрой,
когда начинали задумываться и вести ночные споры на кухне,
народ курил «Беломор», а заведующие магазинами,
известные тренеры и следователи – «Казбек»,
степенно постукивая мундштуком папиросы
по крышке распаивающейся картонной коробочки,
когда кримпленовые женские платья
и мужские нейлоновые рубашки
стали недостижимой мечтой советского человека,
появились болгарские сигареты —
«Пчелка», «Джебел» и «Шипка»,
коньки «снегурочка» сменились «канадками»,
и появились первые блочные пятиэтажки,
когда Фанфан-Тюльпан добивался любви Джинны
Лоллобриджиды,
начали догонять Штаты по производству мяса, молока и масла,
забив не только птицу, коров и свиней, но и лошадей,
напечатали «Один день Ивана Денисовича»,
и дали Первую премию Вану Клиберну,
когда вдруг стало казаться, что и мы будем жить в нормальной
стране,
когда, играя в шахматы, объявляли не только *шах*, но и *гардэ*,
многое обнадеживало, и во многое верилось,
в те странные наивные времена, когда авторам платили гонорар
за романы, повести и даже рассказы,
за стихи могли посадить, и – сажали,
а за ленинградский «Зенит» играли ленинградцы,
в то чудное время,
когда мамы были молоды, а папы – те, которые выжили,
старались не вспоминать войну,
во времена Жуковых, Марченко, Бродских,
когда я был совсем юным, —
думалось, мечталось, хотелось надеяться,
что жизнь будет...

(Подражание Л. Н. Толстому)

[ОРИГИНАЛ]

«...в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, – в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, – когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, – в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, – в губернском городе К. был...»

Л. Н. Толстой. «Два гусара»

Поезд

*Времена не выбирают.
В них живут и умирают.*

Я не буду целовать холодных рук. В нашей осени никто не виноват. Ты уехал, ты уехал в Петербург. А приехал – в Ленинград.

Я не буду целовать холодных рук. В нашей осени никто не виноват. Ты уехал, ты уехал в Петербург. А приехал – в Ленинград.

Сапсаны ещё не ходили. Мне взяли билет на «Аврору». Тогда это был поезд № 159/160. Он отходил от Ленинградского вокзала в 13:45, а прибывал на Московский в 18:10. «Аврора» – не транспорт, а сплошное воспоминание. Ещё в 65-м году я ехал этим поездом – в те времена самым скоростным, сидячим, комфортным – из Ленинграда в столицу и волновался. Я всегда волновался, приезжая в Москву. Из провинции в столицу. Даже мучил себя процессом бритья каждый день. Столица! Физиономию лица было не узнать. Сейчас ничего не дрогнуло, хотя возвращался в родной город после долгого, долгого отсутствия. Гурченко с Моисеевым пели про Петербург – Ленинград, а я дремал.

– Что, голуба, на Родину потянуло?

– Это беременную на соленькое тянет. Меня же Бог миловал с соленьким. А с Родной никогда не расставался.

– Это как же-с?! Штампики в паспортах имеются.

– Тебе не понять, любезный. Родина – это память. Память, и ничего более. А пошел-ка ты вон!

– Не извольте беспокоиться, ваше высокородие! Исчезаю-с, испаряюсь...

Это я хорошо сказал, правильно: Родина – это не что иное, как память. И ничего более.

Тронулись. Глаза не открывал, но знал: пошло-поехало. Рижская, Петровско-Разумовское, НАТИ – что это, понятия не имею, потом, уже мелькая, неразборчиво, но я все помню, – Химки, Подрезково, минуя Новоподрезково, а там – Сходня, Малино, Радищево, Поваровка, гляди – уже Фроловское, значит, я провалился – уснул, так как прозевал Подсолнечную и Головково, а там и Клин. Мой Клин. В обратном порядке я знал когда-то все станции, даже такие, как Стреглово или Березки Дачные, хотя электричка, мчавшая меня из Клина в разгульную жизнь Москвы, там не останавливалась. Впрочем, разгульной жизни не получалось, все мои друзья в летнее время, когда я работал в Доме-музее Чайковского, разъезжались, и я просто бродил в одиночестве по опустевшему, но притягательному городу. Как-то раз ближайший друг – коренной москвич и патриот города (не подумайте ничего плохого – только города!) сообщил, что он проездом в Москве, и мы должны опробовать недавно открывшийся ресторан «Пекин», что недалеко от «Маяковской». Летел, как Наташа на первый бал. Из барака – в Пекин! Предупредил коменданта, что, возможно, ночевать не вернусь. В ресторан же еду, не в ЦГАЛИ. Друг решил блеснуть знанием китайской кухни (без алкоголя: кулинария Поднебесной в центре Москвы ограничила наши финансовые возможности). В памяти остались микробиологическое слово «агар-агар» и что-то про маринованную медузу. Принимавшая заказ уставшая официантка, пристально посмотрев на нас, твердо сказала: «Не надо!» То, что успели проглотить, срочно заели за углом черствыми пирожками с холодной начинкой, обозначенной как мясо. Вернулся в Клин я засветло. Вот и все приключения. Хорошее было время.

Тогда уже состоялся Калининский проспект с чудом сохраненной у подножья новой магистрали маленькой церковью Симеона Столпника, построенной (в варианте сруба) ко дню венчанья Бориса Годунова, сверкали неоновые рекламы вдоль первых этажей правительственной трассы, а в вышине, в окнах выстроившихся плоских гигантов сияли незабвенные слова:

СЛАВА КПСС!

– но Москва ещё оставалась Москвой. Ещё существовал живой старый, не картонный Арбат, нераскрашенная Сретенка с редкими авто типа «Волга», «Москвич» или «Победа», церковью Успенья Богородицы в Печатниках и храмом Живоначальной Троицы в Листах. «Тихо, Сретенка, не плачь! Мы стали все твоею общею судьбой». Плющиха... Дом Щербачева, где жило семейство Толстых, клуб завода «Каучук» – «Берегись автомобиля», «Три тополя»... Чудные фильмы моей молодости. Самотечная площадь с обшарпанными двухэтажными зданиями, несущими аромат ушедших эпох. Ресторан «Прага» со знаменитыми эклерами. Дом на углу Арбатской площади и Малого Афанасьевского переулка. Трехэтажный московский особняк. Или особняк князей Мещерских на Большой Никитской... Все это было частью моей жизни, моей Москвы. Все это исчезло, как сон, как жизнь... Ну и, конечно, ресторан «Ара-рат» – в 60-х–70-х лучший в Москве, с прекрасной армянской кухней. Он, видимо, сохранился, но душа уже не рвется туда. Она никуда уже не рвется.

Разгуляться, повторюсь, не получалось; получалось съесть пару конвертов из горячего теста с сосисками внутри и выпить пива, но не в баре «Жигули», куда попасть даже летом было невозможно, да у меня и денег не было, вернее, были, иначе зачем я водил по три-четыре экскурсии в день, вдохновенно рассказывая (одна экскурсия – в кармане 2 рубля 50 копеек) о последних годах жизни автора «Пиковой» в Клину; деньги были, я их заработал, но специально не брал в Москву, чтобы не поддаться соблазнам. Деньги я копил. Мечтал вырваться из коммуналки. Почти всю сознательную жизнь мечтал. Так что пиво пил не в «Жигулях», а на улице – одноименное за 37 копеек, из горлышка. После чего возвращался в свой архив, к квартетам Танеева, письмам, дневникам тогдашнего героя моего исследования, к уникальной Ксении Юрьевне Давыдовой – внучатой племяннице Чайковского, человеку иной эпохи, ушедшей культуры (с Ириной Юрьевной я общался мало, а Юрий Львович незадолго до того времени скончался), к другим сотрудникам этого заповедного уголка – интеллигентным, спокойным, доброжелательным, как бы вырванным из окружающего социума и клинского быта, к любимой мною Наталье Григорьевне Кабановой – директору Дома, некогда учившей меня – девственного (в интеллектуальном отношении) подростка – премудростям музыкальной науки, к серовато-голубому деревянному дому, обрамленному фисташкой и шартрезом лиственниц прозрачного патриархального парка, к звучащим его аллеям, к беседке, робко белеющей среди буйства зелени, к расстроенному роялю фирмы «Беккер», к клавишам которого разрешали прикасаться только великим заезжим музыкантам, к бронзовому «Поющему петуху» – подарку Люсьена Гитри, к собранию творений любимого хозяином дома Моцарта, к простому светлому деревянному столу, сделанному местным мастером по заказу композитора, стоящему у окна спальни с узенькой железной кроватью, покрытой вручную связанным покрывалом, на этом столе была написана Шестая Симфония, к собранию курительных трубок и многочисленным фотографиям, покрывавшим стены гостиной, к подгнивающему серому дощатому бараку для командировочных, в сырой и темной комнате которого я в одиночестве поглощал свой незатейливый и неизменный ужин: пол-литра жуткого плодово-ягодного вина за девяносто две копейки бутылка, консервы, именуемые рыбными, в томате, ломоть черного хлеба, посыпанный крупной влажной серой солью, свежий сочный зеленый лук, покупаемый у старушки, привычно торговавшей около пустого гастронома, стакан чая, который я наливал из общего чайника на кухне. Недели через две я опять мчался в Москву, в Москву, в разгульную жизнь, прекрасно зная, чем она обернется, но сердце билось, и казалось, что электричка движется медленнее, нежели ей положено по расписанию. Мне было двадцать лет. Стреглово, Фроловское, Покровка... Пошлб-поехало.

Впрочем, все летние встречи с Москвой проходили как-то одинаково грустно и одиноко. Названия станций при подъезде к столице помню. Названия и содержимое архивов помню.

Калининский и улицу Воровского, где я останавливался у моих чудных родственников – москвичей дореволюционного уклада, помню.

Интересно, что у московских родственников я жил на улице имени революционера-большевика Воровского (никогда на этой улице не квартировавшего). Кажется, на углу Борисоглебского. В двухэтажном особняке купца первой гильдии Лямина, предка моих родных. Торговый дом Лямина был известен с середины восемнадцатого века. Иван Артемьевич Лямин был даже избран в 1871 году московским городским головой. Наиболее известной резиденцией Лямина была знаменитая дача в Сокольниках, дом же на Поварской принадлежал когда-то Александру Александровичу Дубровину, жена которого – Вера Ивановна – была дочкой Ивана Лямина. Это был чудный, хотя и запущенный московский двухэтажный особняк. При входе внутри стояли два огромных нубийца, поддерживая мощными руками потолок. На первом этаже жила безразмерная семья. Помню огромное количество детей – черноглазых, смуглых, кудрявых, цыганистых. Часть второго этажа оставили бывшим владельцам – Дубровиным-Бомас.

Там я и проводил свое московское время среди невиданного количества редких, в большинстве своем дореволюционных, книг. Это было на улице имени большевика Воровского. Затем вернули старое дореволюционное название – Поварская. На месте особняка Лямина – Дубровиных – огромное серое бетонное безликое здание со стеклопакетами... Но на Поварской. Зазеркалье!

Помню ветчину, покупаемую на Калининском, и «маленькую», то есть четвертинку водки, которые мы с Лялей – моей дальней родственницей – поглощали за бесконечным вечерним чаем, обсуждая фильмы «Новой волны» или Феллини, романы Мережковского или Булгакова, читая по памяти стихи Ахматовой или Баратынского, Мандельштама или Пушкина – кто больше вспомнит. Я выигрывал в Ахматовой и в Бунине, Ляля – во всем остальном. Она была мудрым и эрудированнейшим человеком, подлинным учителем русской словесности старого, ныне исчезнувшего закала. Иногда из своей комнаты выходила и к нам присоединялась старенькая тетя Нина – она когда-то была секретарем Станиславского. Остальные Дубровины были в это время на даче. Помню все, как будто вчера было. Подобные чаепития и упоительные неторопливые беседы были возможны только в той старой Москве.

Больше ничего не помню. Ничего и не было. Один раз – значительно позже клинского периода – встретился с Галей, она случайно заехала домой с дачи. Позвонила мне. Ходили вдоль Москвы-реки, она показала мост – это у Воробьевых гор, около станции «Университет». Вспоминали давно ушедшее. Ведь знакомы и дружны были с десяток лет, если не более. Она постоянно приезжала в Ленинград. Мы и там бродили. Белые ночи. Разговоры... Вспоминали. Хотя вспоминать особо, опять-таки, было не о чем. Так... О прошедшей юности, общих друзьях. О тех белых ночах. О Гаграх, поездке в Новый Афон – как она сорвала меня! Если бы не она, женился бы я на третьем курсе. Как жизнь повернулась бы?... Прощаясь у парадного подъезда я поцеловал ее в щеку. Она вдруг сказала: «Ну, наконец, догадался!» Пока я переваривал неожиданную информацию с подтекстом, она уже исчезла. Я взбодрился, вознамерился и крикнул в лестничный пролет: «Может, завтра увидимся?!» – «Нет, меня муж на даче ждет!» Я другому, стало быть, отдана... Больше я ее никогда не видел. Чудная была девушка. Глазастая, фигуристая, с юмором. Похожа на юную Татьяну Самойлову. Неизменно подтянутая, на каблучках. Москвичка! Столько лет прошло. Жива ли?

– Ваше высочорodie, Александр Павлович, не желаете откушать чайку? Аполлон Аполлоныч беспокоится...

– Не желаю!

– Аполлон Аполлоныч не изволил приказать насчет водочки. Говорят, вам не следует перед делом.

– Пошел вон!

– Не извольте беспокоиться. Уже удаляюсь!

В середине июня ранним утром – часов, этак, в пять – Петропавловская крепость, Ростральные колонны, здание Биржи, успокоенная за краткий миг призрачной ночи гладь Невы, гранит набережной – всё окрашивается в неземной сиреневато-розовый цвет. Будто Он окидывает взглядом свои владения. Только ростры на колоннах, кроны деревьев, их окружающих, да проемы колоннады Биржи темнеют на фоне этого подрагивающего марева пробуждения сказочного города, похожего на сон, на мечту, на счастье. Ленинград ещё спит. Воздух наполнен ароматом отцветающей черемухи или поздней сирени, липового нектара, струящегося с бледно-золотистых крон пышных деревьев, мокрого асфальта, по которому ступенчатым строем прошли поливальные машины, свежей невиской воды с ее запахом талого ладожского льда, тины, рыбешки и дымка от неторопливых барж и суетливых деловых катерков. Чайки чинно сидят на буйках, ступенчатых спусках к воде, на причалах для речных трамвайчиков. Редкие молодые пары догуливают свою счастливую ночь – безоблачную и скоротечную. Сухенький старичок в аккуратном сереньком, стареньком, но чистеньком костюмчике и в летней бежевой кепочке облокотился на парапет около Мраморного дворца и всматривается в стену Трубецкого бастиона. Из бастиона изредка выходит странный человек, половины лица у него нет, череп расколот. Он неторопливо идет к старичку.

С музыкальным ассортиментом была, видимо, напряженка. Поэтому сквозь дрему опять донеслось по поводу приезда в Ленинград вместо Петербурга. Песня не раздражала. Я стал к ней привыкать. Да и к Гурченко испытывал давнюю – с 1956 года – симпатию. В сущности, они с Моисеевым правы: куда я еду?

Назвать Ленинград Ленинградом уже нельзя. К Ленину охладели. Я тоже больших симпатий к нему не испытывал. Злой гений. Как и Петр. Но Ленинград любил. Я там родился. И был какой-то необъяснимый аромат в этом имени города. Ничего общего с суконным погонялом пролетарского вождя. Ленинградец – значит, человек особой культуры. Ленинградец – значит, не москвич. Значит, поздоровается и объяснит, как пройти. Значит, скорее всего, – блокадник. Значит, публика в любом уголке страны, решая, что выбрать: концерт мастеров «Москонцерта» или артистов Ленгосэстрады (потом – «Ленконцерта»), безоговорочно пойдет на концерт последних. Не потому, что артисты лучше, – город притягательнее. Значит, «я счастлив, что я – ленинградец, что в городе славном...» Однако сам голосовал за переименование, точнее, за возвращение подлинного имени, наивно полагая, что поиск утраченного времени может привести к адекватному результату.

Ленинградом уже не назвать. Но и «Петербург» в глотку не лезет. Если только «Бандитский Петербург». Разве может быть петербуржцем г-н (...), хотя он и родился в коммунальной квартире невдалеке от моей коммуналки? От дома Мурузи до Баскова переулка – три минуты на велике. В Басковом переулке – тогда пустынном, малолюдном, практически без автомобилей на проезжей части в вечернее время – я учился кататься на велосипеде. Папа бежал сзади и поддерживал. Иногда приходила мама посмотреть на мои успехи. Где-то около 50-го года... Разве может находиться Петербург, да и Ленинград особенно, в нынешней России, ласково принимающей европейских неонацистов?! Разве может быть губернатором Петербурга красномордый Иудеев-Питерский или бывший комсомольский вожак м-м Грицацуева?

Разные были губернаторы. Худые и полные, с усами, с бакенбардами, гладко выбритые, воины и чиновники, смысленные и глуповатые. Даже безграмотные были. Светлейший Римского и Российского государства князь и герцог Ижорский, тайный действительный советник, сенатор, Государственной военной коллегии Президент, генерал-губернатор губернии Санкт-Питер-Бурхской, генерал-фельдмаршал, а затем – генералиссимус, полный адмирал, кавалер орденов Св. апостола Андрея Первозванного, Св. Александра Невского, Белого Орла (Польша), ордена Слона (Дания), Черного Орла (Пруссия) и пр., и пр., и пр. – Александр Данилович Меншиков грамоты не знал. Академиком был. Это – да! Действительным членом Лон-

донского Королевского (академического) общества, о чем свидетельствует грамота, врученная 15 октября 1714 года и подписанная Исааком Ньютоном. Однако свою подпись герцог Ижорский выводил с трудом, всегда одинаково, заученным жестом. Господин академик читать и писать не умел. Не осилил. Надо отдать должное Светлейшему: при всей неумной тяге к званиям, наградам, титулам и должностям, в длинном перечне всех бесчисленных регалий он ни разу не упомянул о принадлежности к академическому сообществу. Скромностью герцог не страдал, однако здравый смысл имел: засмеяли бы. Разные были градоначальники. Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, который с Наполеоном тягался, и Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, который декабристов вешал, Александр Николаевич Оболенский, у которого внучатый племянник Константин (Кирилл) Симонов в любимцах Сталина ходил, грацируя, и Иосиф Владимирович Гурко, под началом которого воевал на Балканах мой прадед; Треповы, папаша и сын, были: первый прославился благодаря выстрелу Веры Засулич, второй, будучи ещё ротмистром, – командой своему эскадрону «Смотри веселей!» во время похорон императора Александра Третьего («Кто этот дурак?» – спросил ошеломленный С. Ю. Витте), Архаров был – основатель «ордена архаровцев», и Салтыков – банный блюститель – был, были фон дер Пален и Кавелин, Милорадович и Игнатъев, Владимир Федорович фон дер Лауниц, бывший во время Балканской компании адъютантом И. В. Гурко и застреленный в декабре 1906 года террористом Евгением Кудрявцевым, и генерал от инфантерии Александр Аркадьевич Суворов, граф Рымникский, князь Италийский – внук великого полководца, сын красавца генерал-лейтенанта Аркадия Суворова, также графа Рымникского, утонувшего в реке Рымник при переправе – Судьба недобрая шутница! Миних был и Балк был... Русские, немцы, лифляндцы были, был крещеный еврей. Всякие были. Нечистые на руку – большинство, начиная с академика, герцога Ижорского. Безупречные были, как Федор Федорович Буксгевден, к примеру, или, в особенности, граф Петр Александрович Толстой, который вышел в отставку с должности петербургского военного губернатора обремененный крупными долгами (случай уникальный в истории российского института губернаторства). Долги сии образовались и возросли по причине того, что, по мере необходимости, губернатор докладывал свои личные деньги для завершения необходимых городу проектов; дом губернатора был всегда открыт для нуждающихся – неимущим женщинам выдавали, к примеру, от 5 до 25 рублей (не вдаваясь в расследование подлинности бедственного состояния). Помимо этого, граф Толстой – командир Гвардейского корпуса – завел обычай дарить (из личных средств, естественно!) именинникам – солдатам и унтерам гвардии – соответственно один рубль или два *серебром*. (Государь также дарил именинникам, но из средств Государственной казны, всем один рубль *медью*). Тут у графа никаких денег не хватило бы (генерал Багратион предупреждал ведь!), тем более что постепенно умники начали «справлять именины» по несколько раз в год. Так что долги были превеликие. К концу жизни, выйдя в полную отставку и живя в своем имении Узкое под Москвой, граф Толстой занялся сельским хозяйством, особенно преуспевая в цветоводстве, шелководстве и в разведении меринсов. Эта деятельность была столь успешной, что со всеми долгами граф расплатился сполна. Расплатился самостоятельно: в 1805 году, заменив Толстого на посту губернатора Сергеем Кузьмичом Вязмитиновым и направив Петра Александровича во главе 20-тысячного десантного корпуса воевать Наполеона, Александр предложил оплатить долги бывшего градоначальника. Толстой отказался – будет служить, пока есть силы, а долги отдаст, уйдя на покой, в деревню. Отдал. *«Он был очень добр, щедр, правдив, честен в высшей степени и за правду готов был стоять, перед чем бы то ни было, непоколебимо»*. За правду стоял он и перед Наполеоном. Как военачальник и как посол Российской Империи в Первой Империи.

Разные градоначальники были.

Серых, как валенок, не было.

Серых, никчемных, а посему злобных, не было.

Столичность была «градообразующим» фактором, стимулом и сутью его существования, синонимом его именованию.

*Он был рожден имперской стать столицей.
В нем этим смыслом все озарено.
И он с иною ролью примириться
Не может
и не сможет все равно.*

Наум Коржавин был прав. Как только Петербург терял свой столичный статус, при всех своих красотах и особом самоощущении он становился провинциальным городом с прекрасными дворцовыми ансамблями, изысканной планировкой несчастного Петра Еропкина, красивой историей, богатыми музеями, возвышенными мечтаниями и горделивой осанкой, но с периферийным социальным положением и уездным сознанием. Лишившись своей столичности, город быть «Петербургом» уже не мог.

Бесспорно, «Северная Пальмира» была задумана и заложена Петром, который Первый. Однако блистательной столицей она стала благодаря Петру, который был Вторым. Если бы изнуряющая страсть юного властителя Империи к охоте, простуда, полученная на льду Москвы-реки на празднике Водосвятия 6 января 1730 года и, наконец, редкий вид оспы не свели в могилу четырнадцатилетнего Российского Императора, сына царевича-мученика Алексея Петровича, то на берегах Невы, возможно, находили бы не увядшие и подкрашенные красоты Северной Пальмиры, а руины Ахетатона.

...25 февраля 1728 года в Петербурге начались празднования по поводу коронации Петра Второго. Бурхард Христофорович Миних – градоначальник столицы – постарался на славу. Семь дней на Царицыном Лугу били фонтаны белого и красного вина. Это – для простолюдинов. Знать гуляла в одном из дворцов Миниха недалеко от этого Луга, ставшего потом Марсовым полем. Столы ломились (в прямом смысле – некоторые не выдержали веса яств, среди которых выделялись цельные туши крупных млекопитающих), вино и пиво стояли по стенам в бочках и бочонках. Каждый тост сопровождался выстрелом из пушки Петропавловской крепости – вот и крепость пригодилась – знаменитый фортификатор граф Бурхард Христофорович немало потрудился над возведением бастиона Петра Великого и окончанием бастиона Зотова (в камне). Все было бы хорошо, только жителей почти не осталось. Как отъехал юный царь со двором из Петербурга 9 января, так и сиганули за ним его подданные всех сословий и конфессий...

Не прошло и трех лет со смерти основателя Петербурга, а город на глазах угасал, разваливался, пустел. Трава бойко прорастала на главных улицах опустевшей столицы, стаи волков безбоязненно забегали в самый центр города, ушли гвардейские полки, мелкие присутствия остались на месте всемогущих Коллегий, купцы, ремесленники, дворяне вслед за двором Петра Второго поспешно покидали болотистые, мрачные, дикие места, отдаленные от деревень и поместий, от нормальной, привычной, обустроенной жизни. Природа мстила своеволию амбициозного правителя, сотворившего город вопреки ее законам, пытаясь подчинить своей воле непокорную среду. *«Царь не хотел жить в ненавистной ему старой столице... Создание новой столицы было делом неотложным... Приходилось одновременно возводить дворцы, храмы, дома знати и жилища для ремесленников, строителей, чернорабочих, скульпторов, живописцев... Предстояло развести сады, провести каналы, завести строительные материалы, растения, даже /плодородную/ землю и деревья – ждать пока вырастут новые было нельзя... Но задача была выполнена, город /.../ возведен...»* (М. Матье). Это – не о Санкт-Питер-Бурхе. Это – о новой столице фараона XVIII династии Аменхотепе IV (Эхнатоне), покинувшего в XIV веке до Р.Х. старую столицу – Фивы и основавшего новую – на берегах Нила... Так же безжалостно,

стремительно, вопреки всем традициям древнеегипетского зодчества, насилуя страну и народ, в кратчайший срок воздвиг Эхнатон город из белого камня – «Землю бога Атона», с огромным дворцом своей первой жены Нефертити – самым большим в архитектурной истории этой древней цивилизации, с удивительной планировкой, просторными улицами, светлыми храмами, удобными и обширными жилищами горожан, сверкающими белизной набережными. Однако после смерти этого царя – мечтателя, авантюриста, жестокого преобразователя, поэта (автора жемчужины египетской поэзии «Гимна Атону»), строителя, фанатика, философа, сумасшедшего, провидца – после его смерти сменивший его Тутанхатон, ставший Тутанхамом, – муж третьей дочери Эхнатона, перенес столицу в Мемфис. «Земля Атона» была заброшена, стала разрушаться, а по воцарению XIX династии город был проклят, оставшиеся постройки снесены, жемчужина древности постепенно занесена толстым слоем песка. Прародитель «авраамических» религий – иудаизма, христианства и ислама – «атонизм» ушел вместе со своим создателем и главным жрецом – великим религиозным реформатором Эхнатоном. Единый бог Атон изгнан из храмов. Царь-еретик – забыт. Монотеизм был ненавистен традиционному жречеству Древнего Египта. В преломленной и обогащенной форме монотеизм (атонизм) проявился позже – в иудаизме. Так же, как были ненавистны и неприемлемы новации великого реформатора древности, были ненавистны и неприемлемы новации Петра Первого. Петербург, повторяя историю возникновения Ахетатона, избежал участи этого чудного, небывалого досель города. Проживи Петр Второй ещё хотя бы десяток лет – до 25-ти, – процесс был бы необратим. Однако он (удачно для истории города) умирает в 14 лет, и по воцарении Анны Иоанновны двор возвращается в Петербург, за двором силой, угрозой конфискации имущества и жилья, а также лишения прав загоняют жителей; начинается аннинский, елизаветинский, екатерининский периоды истории города – столицы Российской империи. Город постепенно принимает тот облик и то историческое – столичное звучание, к которому мы привыкли и которое было присуще ему до 17-го года. После 17-го город травой не зарос, волки по Невскому не бегали, песком Неву не засыпало. Но город перестал быть столицей и перестал быть Петербургом. Не было бы Вована, не назвали бы Ленинградом. Назвали бы как-то иначе. Петербургом он уже быть не мог. Столичность истекла, истощилась, исчерпалась. Петербург ненавязчиво, но закономерно стал Петроградом. Так бы и остался, если бы вождь пролетариата удачно не дал дуба, и город получил новое имя. Имя прижилось, городом и его обитателями облагородилось. Ленинград стал провинцией, уникальной и самодостаточной. Такой провинцией страна гордилась, а мир стране завидовал. Но – провинцией! Не случайно с выскакивающим от восторга сердцем и до блеска выбритой физиономией лица я мчался в Москву – из уезда в столицу! Провинциальностью кичились, она была эквивалентом оппозиционности или, во всяком случае, видимостью несоучастия, отстранения от кремлевского кровавого эксперимента, хотя это был самообман – кашу заварили на Неве, – но самообман сладкий, дурманящий, возвышающий. Да и в Кремле в городе-колыбели видели скрытую угрозу, не случайно вырезали, выдавливали слой за слоем и руководителей, и интеллигенцию. От Зиновьева – к лучшему Другу Вождя – «Огурчики, помидорчики/ Сталин Кирова убил в коридорчике» (10 лет без права переписки), а там – и «Ленинградское дело» – кровавое и тупое. От Гумилёва до Бродского, от Патриарха Тихона до генетиков, от академиков Тарле, Платонова и Н. П. Лихачева до галериста-нонконформиста Георгия Михайлова, от Бахтина и Мейера до Эткинда. Если не вырезали, то отторгали и вытесняли. Будь то гроссмейстер Виктор Корчной, фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов или пианист Григорий Соколов. Никакой политики – ленинградцы!

Город остался провинцией – Ленинградом, без потуг на столичность. И в этом было его обаяние. В этом было отличие от Петровского и нынешнего «Петербурга»: город был един и органичен, без раздвоенности, без сочетания несочетаемого: европейскости – азиатчины, старомосковских традиций – европейских новаций (это – в прошлом), ленинградской интелли-

гентности – новорусского хамства, остатков подлинной культуры – варварства новых лавочников с Литейного, 4 (это – нынешний Питер)...

А как выбежать поутру после жуткой пьяни: метель задувает под пальтишко, второпях не оденешься, если трубы горят, штилеты на босу ногу, да к ларьку. Угол Короленко и Артиллерийской. Там очередь, но лица знакомые, серые, непохмеленные. «Клабочка-душечка, маленькую и большую с подогревом». Пену сдул и – потекло. От счастья задыхаешься, захлебываешься, льешь на суконную грудь, начинаешь вспоминать, где и с кем вчерась пил, кому звонить, чтобы продолжить фиесту. Родина, память.

Санкт-Питер-Бурх, заложенный Петром Великим, как в капле воды отражал главную особенность новаций и всего царствования царя-плотника, как, впрочем, и всей послепетровской истории. За новым европейским фасадом скрывалось старое – азиатское содержание. Здание Двенадцати коллегий, поражавшее современников своим небывалым, строгим, европейским видом – не что иное, как допетровские приказы, да и построено здание было по проектам старых кремлевских «присутствий» XVI–XVII веков. Непривычные для русской архитектуры конфигурации шпилей и куполов вновь выстроенных соборов, прежде всего, Адмиралтейства, Петропавловки, Исаакия – вызолочены, как маковки московских церквей – «чтобы Господь чаще замечал». «По обеим сторонам /Невы/ стоят отличные дома, все каменные, в четыре этажа, построенные на один манер и окрашенные желтою и белою краскою. /.../ Но самое приятное, что представляется в этой картине, когда въезжаешь по Неве в Петербург, это крепостные строения, которые придают месту столько же красоты, как и возвышающаяся среди укрепления церковь... Поражает бой часов, какого нет ни в Амстердаме, ни в Лондоне». Это писал в 1736 году датчанин фон Хафен. Поражал не только бой часов, но и весь облик парадного регулярного Петербурга – его «витрины», расположенной по берегам царственной Невы, а затем и Безымянного Ерика – Фонтанки. Такой стройности и упорядоченности не знали хаотично застроенные старые столицы Европы. Как и не знали в Европе скопищ деревянных азиатски-неприспособленных для жизни строений, составлявших суть города вплоть до 20-х годов XIX столетия. Деревянный Петербург горел. И как горел! За европейским фасадом простиралась российская допетровская Русь. Парадный подъезд блистал, а за ним – да трава не расти.... Как в нынешние времена – к приезду местного Президента или заморского – красят в лучезарные цвета Гостиный двор по Невской линии и на десять метров по Садовой – там, где начальственный глаз охватить может при быстрой езде безразмерного кортежа, а дальше – опять-таки, трава не расти... Причем в деревянных домах, избушках, особняках, дворцах жили не только ремесленники, рабочие, извозчики или квартировали в казармах столичные гвардейцы. Представители лучших фамилий, цвет российского общества, ещё долгое время предпочитали жить по-старинке – в богатых срубках.

Однако главное, – и в каменных желто-белых четырехэтажных домах, выстроившихся по воле Петра вдоль рек, и в деревянных палатах и хижинах жили рабы. *«История представляет около его /Петра/ всеобщее рабство. /.../ все состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубиною».* Это Пушкин. А это – уже времена Анны Иоанновны. Французский посланник маркиз Шетарди в конце 30-х годов восемнадцатого – *просвещенного* – столетия писал с изумлением о высшем дворянстве России: *«Знатные только по имени, в действительности же они были рабы и так свыклись с рабством, что большая часть из них не чувствовала своего положения».* Почти сто лет прошло, и граф Михаил Сперанский констатирует: *«Я вижу в России два состояния – рабы государевы и рабы помещичьи. /.../ действительно же свободных людей в России нет».* Да что Сперанский – «попович», сын причетника в церкви поместья С. В. Салтыкова! Князь Петр Долгоруков – потомок Рюрика и св. Михаила Черниговского, представитель древнейшей, богатейшей и блистательнейшей фамилии России, один из предполагаемых – не обоснованно – авторов писем-пасквилей, приведших к дуэли Пушкина и Дантеса; Долгоруков, позволяющий себе менее знатную и менее «преуспевшую»

фамилию Романовых называть «домом принцев Голштейн-Готторпских, ныне восседающим на престоле Всероссийском», этот князь – один из наиболее «содержательных» корреспондентов – оппонентов Герцена, князь-бунтарь, уже в 1860-м году – время весьма даже либеральное, «освободительное» – писал: *«Родился и жил я, подобно всем дворянам, в звании привилегированного холопа в стране холопства всеобщего»*... Это уже не Европа. Лишь вывеска европейская. «Страна рабов», – диагностировал М. Ю. Лермонтов. Достаточно было нахмурить брови тринадцатилетнему мальчику-царю, как рухнул «полудержавный властелин», полноправный хозяин огромной империи, перед ним дрожала Европа, ему были преданы лучшие гвардейские полки, генералиссимусу стоило лишь появиться в казармах и громовым голосом «попросить о защите», что было неоднократно и успешно сделано при возведении на престол Екатерины Первой или того же Петра Второго, и очередной переворот был бы неминуем. Нет, уполз в Березов. Как и ныне – сморщенный лобик (...) и рушатся (...), хотя прихлопнуть, (...) без помощи гвардейцев (...) *«Сейчас в России нет частной собственности. Есть только крепостные рабы, принадлежащие (...)*» (названо имя очередного хозяина страны). Это уже не Сперанский, это – XXI век.

...Рабы – они и есть рабы. Как с рабами и поступали. Это – не Европа. Решено было застраивать Адмиралтейский остров по Немецкой улице и по Задней улице каменными домами, но не все вельможи и простолюдины выполнили. Посему Указ: «У тех обывателей по линии хоромные строения /то есть деревянные временные/ ломать каторжными, а им объявить: буде они на местах с нынешнего мая месяца строить палат /каменных/ не будут, то те двory их взяты будут на Е.И.В.» И пришли безносые с рваными ушами и безъязычные и стали ломать и крушить вполне пригодные теплые насиженные дома, и понесся над столицей истошный бабий крик, вой обезумевших собак, детский плач, перинный пух и ужас. Как в двадцать первом веке перед (...) в (...). Только ныне крушили уже не каторжные, а военные бульдозеристы. Не в Европе, слава Богу, живем. Свой особый путь.

Многое происходит в России, но ничего не меняется. Чем больше происходит, тем меньше меняется – окостеневаает.

Также и в Петербурге.

*Ну как в Петербурге не жить?
Ну как Петербург не любить
Как русский намек на Европу?*

Работать так, чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!

В Ленинграде же все пришло в соответствие. Не стало имперской гордыни, спесивого величия, и ушла азиатчина. Спокойно и естественно существовал Ленинград без навязчивых, аляповатых и безграмотных вывесок и реклам, сыпью покрывших величественные и понурые здания, словно стыдящиеся своей безвкусной раскрашенности; Ленинград, с ещё не загубленным Летним садом, с общедоступными санаториями на Каменном острове и спортивными базами, на которых, помню, мы гребли на четверке распашной и бегали на лыжах (это входило в программу тренировки пловцов); Ленинград коммунальных квартир, Ахматовой, общественных бань, Публичной библиотеки, «жилищной» толкучки у Львиного мостика и книжной – в садике двора на Литейном проспекте, напротив улицы Жуковского, с тыльной стороны магазинов «Спортивные товары», «Подписные издания» и «АКАДЕМКНИГА», пышечных на Садовой и Желябова, Мравинского и Товстоногова, купанья у Петропавловской крепости летом и зимой, выпускных школьных балов, рюмочных с килечными бутербродами и пирожков с повидлом за 5 копеек, «Сайгона» и «Ольстера», прачечных с неизменным запахом свежего

«парного» белья и сильно нетрезвых финнов с изумленными организмами и единым отъехавшим сознанием, Лихачева и Друскина, шпаны с Лиговки и молочниц с бидонами из ближних пригородов – Парголово, Токсово, Вырицы; Ленинград прозрачной воды Фонтанки и запаха корюшки по весне, автоматов с газировкой за одну копейку без сиропа и за три копейки с сиропом, а также с пивом (20 копеек), вином и одеколоном (бросил монетку и тебе в рожу брызги удушающего аромата советской парфюмерии); Ленинград Ленфильма и Ленкниги, дровяных кладей во дворах и елки во Дворце пионеров, дефицитов во всем: от стобящих книг («Маркова и Проскурина не предлагать») до «резинового изделия № 2» Баковского завода резиновых изделий за 2 копейки. (Я как-то, стоя у аптечного прилавка и намекая девушке-фармацевту на жгучее желание и жизненную необходимость приобрести этот дефицит, задумался, а что же такое «резиновое изделие № 1»; через много лет узнал: № 1 оказался противогазом, а № 4 – галошами). Резиновые изделия № 2, кстати, поначалу были трех размеров: маленького (№ 1), среднего (№ 2) и большого. Маленького размера мужчины не покупали – кто ж в этом признается, а большие «с напуском» спросом, увы, не пользовались, поэтому с таким успехом прошел Фестиваль Демократической молодежи и студентов; остались сверхдефицитными лишь изделия усредненные – № 2. Во всех смыслах...

Это был мрачноватый, серьезный, независимый город. В этом городе были, конечно, и Смольный, и «Большой дом», и Мариинский дворец, но это был не Ленинград, а лежбище оккупантов, так же, как никогда не были ленинградцами Жданов, Фрол Козлов, Спиридонов, Толстикова, Романов, Соловьев или Гидаспов (помните таких?). То были не ленинградцы – прокураторы. Ленинградцы старались, а многие и умели жить так, как будто «их» нет.

Не надо было мне голосовать за возвращение старого, себя исчерпавшего имени города. Натан Ефимович Перельман – не только превосходный пианист и педагог, но и остро, парадоксально и афористично мыслящий человек – как-то задал вопрос: «Какое блюдо самое невкусное». (Студентка играла с преувеличенным, неестественным, «реанимированным», поэтому нелепым и смешным эмоциональным подъемом – по этому поводу и был задан вопрос.) Мы стали изощряться на подзаборном уровне. Перельман оборвал нас, брезгливо поморщившись, и сказал: «Самое невкусное блюдо —... *подогретое*». Абсолютно точно! Остыло, так остыло. «Доктор сказал “в морг”, значит, – в морг!» Не может быть «Вперед в СССР!». Это «вперед» – в никуда, как «Вперед – в Римскую империю».

Кат сей раз трудился сверхмерно. Три шага назад – прыжок, удар, кровавая борозда. Как в «Абраше»¹ описано. Методика и принципы полосования человеческого тела всегда страдали у нас консерватизмом, отсутствием инициативы и смекалки. Ошметки кожи, мяса – прочь, три шага назад, прыжок... Старался хвост кнута класть не плашмя, а на ребро, так, чтобы до белеющей кости прорезало. Странно. Как казалось, генерал-полицмейстер своих подчиненных, а их на Петербург было тогда 69 чинов полиции, да два ката, секретно содержащихся, не считая каторжных, которых на это дело ставили – рук с хлыстом не хватало, государевы каты со всей работой не справлялись, да два десятка сторожей-будочников, – всех их горемычный градоначальник привечал, опекал. Намедни просил Сенат прибавить денег на оплату жалования всех чинов полиции и прислуживающих: 1059 рублей с копейками в год на всех – зело ничтожно. Как бы не так. Сенат копейку зажал. Да и генерал-губернатор Александр Данилович, сродственник будущий, не внял. Не получилось, но старался ведь. И угощал по всем праздникам, и другую заботу проявлял. Порой даже из своего кармана. Карман был худой, не то, что у шурина. Ан нет. Три шага назад, прыжок, шматы – прочь. На каждом десятом ударе ремень, в крови размягченный, сменять, чтобы новый рабочую свою часть – вываренный в воске и молоке, на солнце высушенный «хвост» из воловьей кожи с заостренными краями, – перво-

¹ Яблонский А. Абраша. – М.: Водолей, 2011. – 496 с.

зданную лютость и законную силу не терял. Сладостно, видимо, полосовать спину бывшего всесильного владыки.

Вот и Виктора Семеновича пытали так, как, пожалуй, не пытали никого из его бывших подопечных, хотя Абакумов мягкосердечием не страдал. Самолично истязал и подчиненных поощрял. На «Ленинградском деле» руку набил – Торквемаде не снилось. И с выселением народов, не угодных Вождю, сантиментам не поддавался, крови не жалел: ни детской, ни стариковской, ни женской – лес рубят... Но чтобы держать три месяца в кандалах в холодильнике, обливать на морозе водой, превращая в полуживую обнаженную статую, делая своего бывшего начальника – Министра Госбезопасности СССР – полным инвалидом, такого не бывало; а начальником Абакумов был заботливым: добился и повышения окладов для всех чинов министерства, и довольствие улучшил, и озаботился жилищными проблемами. Все эти благодеяния припомнили, когда выбивали из него признания в государственной измене, сионистском заговоре в МГБ: тормозил «дело врачей» или молодежной еврейской организации. Ну, и шпионаж, конечно. Как же без этого. Что поразительно: этот пытарь не сдался. Безжалостным служакой был выдвигенец Берии, но оказался мужественным человеком. Все выдержал. Нечеловеческое. Нацисты до таких изысков не додумывались, что, впрочем, естественно: советское – значит, отличное! Но не признался: ни в шпионаже, ни в наличии заговора врачей. В отличие от Антона Мануиловича, которого всего-то навсего на дыбу вздернули и отвесили уже бывшему первому генерал-полицимейстеру Петербурга 25 ударов кнутом (это было ещё во время следствия, до того, как палач усердно полосовал его спину на «публике» по вынесенному приговору – то было уже наказание перед отправкой в пожизненную ссылку). Так Антон Мануилович после 25 ударов сразу же и раскололся: выложил все, что знал (а знал он мало), и, главное, все, чего не знал, но подсказали: и про Петра Толстого, и про Ивана Бутурлина, и про Ивана Долгорукого, и про генерал-лейтенанта Ушакова, и про многих других, и про заговор – или не заговор, а смущение, супротив всесильного и всебогатейшего Меншикова, собиравшегося всю власть прибрать к рукам по кончине императрицы Екатерины. Впрочем, не он – Девиер – первый, не он – последний. Железный Нарком с ежовой рукавицей, с которым работал знаменитый пытарь-виртуоз – тяжеловес, Помощник Начальника следственной части НКВД Борис Родос (сын портного-кустаря из Мелитополя), также признал все свои вины, не столько истинные (гомосексуализм, который тогда – при Гитлере и Сталине – преследовался по закону, «излишнее рвение в проведении террора» и применение «незаконных средств» ведения розыска и др.), сколько вымышленные (агент разведок Польши, Германии, Японии, Англии и пр., подготовка антисталинского путча и т. д.) – Родос бил мастерски, с наслаждением.

Что не мог понять первый Санкт-Петербургский генерал – полицмейстер Антон Девиер (де Виейра) (как, впрочем, и я), так это то упоение, восторг, вдохновение и добровольное, непоказное рвение, с которыми пытали, истязали и казнили своих вчерашних властителей, идолов, небожителей. Казалось бы, «своему» – коллеге – можно и снисхождение оказать, полосовать аккуратнее, с нежностью. Эти небожители всячески прикармливали своих собак – чекистов и катов. Кровавый карлик, к примеру, что бы там ни было, в четыре раза повысил оклады всем сотрудникам НКВД, эти оклады при нем превышали соответствующие оклады в армии, в партийном аппарате и в государственных органах. Да и Антон Мануилович – большой любитель штрафов – весь прибыток – в казну, а стало быть, и в его полицейское ведомство. Все лишняя копеечка в карман полицейскому. Ан нет. Именно поэтому эти собаки так самозабвенно терзали кормящую руку. Ведь не каждый день выпадает сладостное счастье истязать такую фигуру, как грозный Глава Сыска. Ещё недавно чекистов бросало в дрожь, когда они видели «железного наркома», а сейчас он – абсолютно голый, в Сухановской тюрьме: «раздвинуть ягодицы», «рот разинь шире, тварь». И по яйцам, педерасту... Или распластанного Полицимейстера с истерзанной в кровавые клочья спиной, которого вывалили в телегу вместе

с другим осужденным – обер-прокурором (тоже бывшим), Григорием Скорняком-Писаревым, и повезли из Петербурга в Жигановское зимовье. Далече. 800 миль северо-восточнее Якутска.

– Почему?! Нет, не кнут, кнут – понимаю, почему с таким наслаждением, что я *ему* сделал?! – Глаза Антона Мануиловича – мужчины статного, высокого, красивого, некогда сурового, властного, но и европейски обходительного (обходительность де Виейра отмечали и друзья его, и враги), любимца Петра – полны тоскливого недоумения, тихого ужаса.

– Так это ж Россия, голубчик! Слава Богу, не в Португалиях или Голландиях проживаем...

Требуйте полного налива пива!

Ленинград. Его уже нет. Он закончился. И Петербургом уже не будет. Никогда. Остался Ленинбург какой-то. Блистательный, вылизанный. Не хуже – лучше. Другой. Чужой. Современный.

Куда я еду? И еду ли, или меня везут...

Удивительная Россия страна. Я другой такой страны не знаю, где так вольно. *Вольно, но без выезда*. Петербург, по словам Достоевского, «самый умышленный и отвлеченный город на свете». Умышленный – и выдуманный, и искусственный, то есть рожденный по воле некоей идеи, умысла, и вместе с этим – умышленный – сделанный с умыслом, тем самым умыслом, с которым совершают преступление; город, преступления и наказания порождающий. Город «полусумасшедших», фанатиков, гениев; город-мираж, туман. «А что как разлетится этот туман, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красоты, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?». Отвлеченный город, отвлеченный от человека, как, впрочем, и страна, не знавшая и не желавшая знать этого человека. Умышленный город, рожденный Императором, собственноручно пытавшим своего единокровного сына. Город, в котором убийцы одного законного Императора награждались высшими чинами, орденами, несметными поместьями и живыми душами, убийцы другого – продолжали нести службу – с повышением (Левин Август фон Беннигсен через год после страшного 1-го марта был произведен в генералы от кавалерии), а понесшие «наказание» в худшем случае были удалены в свои роскошные поместья (как граф Петр Алексеевич Пален – под Митаву, в свой дворец в Кауцминде). Молодые же офицеры, прежде всего, «вне разряда», невнятно рассуждавшие о цареубийстве, ничего не предпринявшие не только для этого кровавого акта (Пестель, при всей преступности намерений *далекой юности*, был взят под арест за полмесяца до Южного возмущения, Лунин узнал о восстании в Петербурге из газет – он служил в Варшаве адъютантом Великого Князя Константина и уже восемь лет не принадлежал к Обществу, практически не общался с его членами и т. д.), но даже для восшествия на престол законного наследника – второго сына Павла – безропотно простоявшие под картечью, хоть и с оружием в руках, были приговорены к *четвертованию*.

...Приговор, вынесенный 9 января 1775 года Емельке Пугачеву – душегубу, кровопийце, реальному смутьяну, садисту-убийце – вызвал оторопь в обществе и неудовольствие при Дворе. Все же конец осмнадцатого века! А тут: «*Емельку Пугачева четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырем частям города и положить на колеса, а после на тех местах сжечь*», – определил суд, заседавший в московском Кремлевском дворце. Даже генерал-прокурор князь Александр Алексеевич Вяземский был фраппирован. Екатерина обтекаемо рассуждала в письме к князю: «*Пожалуй, помогайте всем внушить умеренность как в числе, так и в казни преступников. Противное человеколюбию моему прискорбно будет. Недолжно быть лихим для того, что с варварами дело имеем*». В ответном приватном письме князь сообщал «по инстанции», то есть Императрице: «*Намерен я секретно сказать Архарову /тогда – обер-полицмейстеру Москвы/, чтоб он прежде приказал отсечь голову, а потом уж*

*остальное /при четвертовании сначала отсекали руки и ноги, а только потом голову/; примеров же такому наказанию /давно/ ещё не было, следовательно, ежели и есть ошибка, она извинительна». Николай Петрович Архаров всё выполнил, натурально возмущаясь ошибке палача: «Ах, сукин сын! Что ты это сделал!!» – за что был вознагражден вниманием Императрицы; в 1795 году он стал генерал-губернатором столицы. После же *облегченного* четвертования Пугачева этот вид казни не применялся, и вообще публичные экзекуции на Болотной площади прекратились. Это было в 1775 году...*

...В XIX веке в Петербурге – просвещённой столице – вспомнили. Четвертовать. При чем приговор вынесли тогда, когда вознагражденное или прощенное цареубийство было на памяти всего лишь одного поколения: 1762 (убийство Петра III) – 1825; все декабристы были юношами или детьми во время убийства Павла, все видели, понимали, запоминали. Приговорены они были практически единогласно: 35 сенаторов и 13 особо назначенных чиновников во главе с престарелым незлобивым князем Петром Лопухиным, служившим пяти императорам, все повидавшем и *всё* одобрявшем, как и все остальные судьи. *Четвертовать*, писали Сперанский (которого декабристы в случае удачи планировали ввести в состав Временного правительства) и Нессельроде, Васильчиков и Балашов, Куракин и Ланской. Цвет Петербурга. Даже Петр Толстой – «добрый, честный, правдивый», известный бессребреник, правдолюб, бывший генерал-губернатор Петербурга «с долгами», а ныне – сенатор. Лишь адмирал Николай Семенович Мордвинов (который, по словам Пушкина, «заключал в себе всю русскую оппозицию») осмелился подать голос супротив этого варварства («*лиша чинов и дворянского достоинства и положив голову на плаху, сослать в каторжную работу*»), да адмирал и литератор Александр Семенович Шишков – обтекаемо, но не требуя четвертовать («*принадлежат к первым преступникам*» – слово «четвертовать» престарелый любитель древностей вывести не смог)...

Конечно, подписанты были уверены, что молодой царь приговор смягчит. Иначе быть не могло (и не может!). *Правительство у нас единственный европеец*, говаривал Пушкин. Эту полубыль-полунебыль по поводу «правительства-европейца» (в разные времена по-разному) создавали и создают рабы, загодя обеспечивая себе место в числе самых верноподданных, преданноподанных и выполняя тот негласный незримый заказ, который посылает единственный в России «европеец» – правительство. Может, действительно, единственный... В любом случае, так добродетельно, так пьяняще радостно быть тем самым навозным фоном, на котором появляется господин – весь в белом!

Умышленный город, где *после бала* возможен и закономерен прогон сквозь строй.

*Прощай, холодный и бесстрастный,
Великолепный град рабов,
Казарм, борделей и дворцов,
С твоею ночью гнойно-ясной,
С твоей хладностью ужасной
К ударам палок и кнутов,
С твоею подлой царской службой,
С твоим тщеславьем мелочным,
С твоим...*
.....

Гордость страны – город на Неве, многолетняя столица Российской Империи, названа иноземным именем, по-голландски: Санкт-Питер-Бурх. Попробовал в Голландии найти название города с русским именем. Или французским, итальянским... Во Франции, в Германии. И так далее по атласу. Не нашел. Город Святого Петра. Но это не в Италии. Там – собор или площадь Святого Петра в Ватикане, а это – город в нынешней России. Впрочем, в этой стране все

возможно, если Андреевский флаг или триколор – гражданский флаг Российской империи – поднимаются под звуки советского гимна на музыку бывшего регента храма Христа Спасителя, а впоследствии генерал-майора и дважды лауреата Сталинской премии Александра Александрова. Возможно все, если город, переживший жуткую блокаду, неслыханный голод, познавший даже людоедство, масштабов которого мы даже не представляем, потерявший более 650 тысяч жителей, умерших от голода, – этот город-герой, поистине герой, через 70 лет принимает нацистов со всех концов света, причем принимает не подпольно, а официально: высшие руководители, которые через пару месяцев будут стоять на победном громыхающем параде, жмут руки последышам нацистских убийц. Всё возможно, если в день Победы напяливают *георгиевские* ленточки (именно *георгиевские*, а не *гвардейские*!) – отличительный знак не только георгиевских кавалеров Российской империи и Добровольческой армии, которых чекисты – кумиры и учителя нынешних хозяев – за одну такую ленточку ставили к стенке или сначала прибивали гвоздями погоны и эти ленточки к плечам или груди, а уж потом ставили к стенке. Георгиевские ленты были отличительным знаком формы воинов Освободительной армии генерала Андрея Власова и обязательной деталью формы Русского Охранного корпуса в подчинении командования войск СС Третьего Рейха, то есть тех, кого вешали и гноили в советских лагерях. Гвардейские ленты с 1942 года присваивались Морской гвардии, стали деталью формы – бескозырок краснофлотцев, а также лентами колодки «Ордена Славы» и медали «За победу над Германией». Гвардейские ленты абсолютно походили на георгиевские. Что это было – безграмотность, потуги быть «как большие» или признаки шизофрении: советский воин с гвардейской – георгиевской – лентой ведет к стенке своего соплеменника с такой же лентой. В любом случае – сомнительный символ. Помню фотографию группенфюрера СС атамана Андрея Шкуро в генеральском мундире Третьего Рейха с георгиевской лентой на груди, полагавшейся ему как кавалеру Георгиевского оружия... Кто кого победил? Кто кого повесил: Сталин Шкуро или Шкуро Сталина? Что празднуют? И – празднуют или угрожают? Угрожают кому – побежденным или союзникам? Или всем, кому ни попадя... Зазеркалье. То прорубили декоративное оконце в Европу и всю историю этим гордятся, то перманентно завешивают железными занавесями – и тоже гордятся. И Новый год отмечают раньше Рождества. Два красных дня календаря: 1 и 7 января. Единственная страна в мире, где сначала празднуют обрезание еврейского мальчика, а затем Его рождение. То есть родившемуся Иешуа (Иисусу) сделали обрезание, началось новое летоисчисление – Новый Год, и это празднуют – Праздник «Обрезание Господне» (1 января), а потом Он, уже обрезанный и проживший 7 дней, родился – Рождество Христово (7 января), и опять – торжество. Чему удивляться, если Храм Вознесения Господня в Колпино располагается на проспекте Ленина! Лимония...

Умышленный город. Любимый. Единственный. *Русский намек на Европу*. И нет ничего прекраснее на свете, нежели сиренево-розовый рассвет на Неве, шуршащие по асфальту поливалки, чайки на буйках, серебристая гладь Невы, маяки Ростральных колонн. Пивной ларек на углу Короленко и Артиллерийской. Запах отцветающей поздней сирени. Запах начала жизни.

«Чернышевская. Следующая станция – Площадь Ленина, Финляндский вокзал. Двери закрываются».

Партия сказала: «надо», комсомол ответил: «есть»!

Незаметно проскочили Клин. Грустно. Около пятидесяти лет прошло с той поры, как ранним солнечным прохладным июньским утром – часов 5 утра было – я сошел с поезда и побрел в сторону дома-музея Петра Ильича Чайковского. Было ещё безлюдно, пыль не поднялась, трава блестела росой. Впереди было лето, а может быть, и дальнейшая жизнь в Клину. Что ждет? Все казалось светлым и обнадеживающим. Рядом – Москва, тогда я любил этот город. Да и Тверь – то бишь Калинин – недалеке. Не заскучаю. С Московского вокзала, через туалет, –

на трамвай. Двадцать пятый или девятнадцатый от Московского вокзала шли прямо ко мне. Остановка «Угол Салтыкова Щедрина и Литейного». Нет, целовать холодные руки все же приятнее, нежели горячие или тепленькие. Холодные, пахнувшие свежим цветочным мылом, снегом, утром. Помню... Запах, кожу. Легкий прозрачный пушок на внешней стороне запястья. Тонкий золотой обруч на кисти помню. Все дальнейшее забыл. Нельзя вспоминать. И не хочу.

...Почему Салтыкова-Щедрина, который никогда на этой улице не жил и, кажется, вообще не бывал? Мы все называли ее Кирочная. Она была и осталась Кирочной. Хотя и это название – неправильное. Когда-то это была 5-я Пушкинская (Артиллерийская) линия Литейной стороны Петербурга, в 1825 году переименованная в *Кирошину* улицу. Это мне рассказала Серафима Ивановна Барыкина, учительница литературы и русского языка в школе № 203 имени Грибоедова – знаменитая была школа! *Анненшуле*. Я ее поправил – *Кирочная*. Серафима Ивановна, маленький «колобок», – учительница властная, строгая, непререкаемая (чуть что: «Дневник на стол!») – непривычно смутилась, но повторила – *Кирошная*. Так как разговор проходил в неформальной обстановке уже после моего окончания школы, да и времена случайно и, естественно, кратковременно, наступили «вегетарианские» – начало 60-х – пояснила: «От слова «*кирша*» – *Kirche* – «*кирха*». И я вспомнил. Наш придворный кино театр «Спартак» ранее – до революции – был кирхой, то есть лютеранским храмом, одним из самых посещаемых в городе. Анненкирхе. Сначала звался – церковь Святого Петра. При окончательной перестройке был переименован. Чтобы не путать с евангелическо-лютеранской церковью Св. Петра – Петрикирхе на Невском, 22/24. И как было не переименовать в честь благодетельницы – Анны Иоанновны, жаловавшей лютеран, особенно германцев, и пожертвовавшей на строительство тогда деревянной церкви одну тысячу рублей. Освящение нового здания кирхи, взявшей имя Императрицы, почтили своим присутствием патроны церкви граф Миних и граф Ливен.

Анненкирхе, Анненшуле, Петрикирхе, Петришуле... Немецкий Петербург. Стержень города, его культуры. Исчез стержень – окислился, растворился, распался, – и ушла в прошлое та удивительная, неповторимая атмосфера этого города. Не только поэтому, но и поэтому тоже. В огромной степени поэтому.

Кому посчастливилось глотнуть последние капли этой культуры, тот поймет.

Немного ниже по течению в том же ряду живет его превосходительство господин вице-адмирал Корнелиус Крюйс, голландец, или же, во всяком случае, выросший среди голландцев. У него просторный двор и здание; во дворе поставлена лютеранская реформистская церковь, которую посещают преимущественно занятые при флоте и некоторые другие живущие там и временно пребывающие немцы. За неимением колокола перед началом богослужения на самом крайнем углу двора со стороны воды или берега поднимают обычный флаг господина вице-адмирала с голубым крестом в белом поле, с тем, чтобы живущие вокруг немцы и голландцы направлялись сюда. Первым пастором в этой церкви был немец из Геттингема, уроженец курфюршества Ганновер, он скончался осенью 1710 г., к величайшему прискорбию всей довольно многочисленной общины. Его звали Вильгельм Толле, он был благочестивым и ученым мужем, знавшим 14 языков и обычно читавшим проповеди на немецком, голландском или финском – для живущих там финнов.

сообщал пастор Симон Дитрих Геркенсон в 1711 году. В 1937 году кирха на Невском была закрыта, пасторы Пуль и Бруно Райхерты расстреляны в 1938-м, Храм превращен в склад для театральных декораций, а затем – овощей; в 1962 году помещение переоборудовали под плавательный бассейн. В 1977 году умер Павел Александрович Вульфийус. Прервалась связь времен.

Мама держит меня за руку. Мы стоим в очереди за билетами. Я волнуюсь, так как иду в кино первый раз в своей жизни. Название фильма помню. «Невидимка идет по городу». Фильм немецкий, трофейный. Очередь движется медленно. Кассы тогда размещались со стороны северного фасада бывшего лютеранского храма, фасада, выстроенного в виде апсиды с ионическими колоннами и куполом на шестигранном барабане. Фасад выходит на Петра Лаврова – некогда Фурштатскую. Кирха – творение Фельтена. Впрочем, от Фельтена осталась только оболочка. Когда-то был орган фирмы Валкер, в алтаре – картина «Вознесение Христа» кисти Липгарта. Сейчас, а на дворе 1947 год – год моего первого похода в кино – на месте алтарной картины – экран, а в фойе северного фасада – кассы. В кассах сумрачно, пыльно, гулко. И тени, тени.

...Мальчик со сборником шахматных этюдов в руках. «Эй, Корчной, давай-ка возвращайся в класс, хватит мечтать!». Ученикам Анненшуле, а ныне 203-й школы во время перемен на улицу выходить нельзя. Особенно осенью, зимой и весной. Летом можно. Но летом мы не учились. «И ты, Женя, давай пошевеливайся! Клячкин, ты что, оглох?!» Женя Клячкин не оглох, он только задумался. Кто мог предположить, что один станет не только выдающимся шахматистом, но и великой личностью, бросившей вызов могучей системе и выигравшей свое, казалось бы, обреченное противостояние с ней. Сражался Виктор Корчной не с Анатолием Карповым, а с советской системой, поддерживаемой всей мощью армии, флота и энтузиазмом патриотичного народонаселения. Клячкин же не сражался, а пел свои песни и стал кумиром целого поколения. О Бродском, который тоже учился в этой школе и которого также загоняли в класс или засекали в туалете с папиросой, никто не слышал, но его стихи знали, потому что их пел Клячкин – «Ни страны, ни погоста», «Пилигримы», «Римскому другу»...

(Курил ли Нобелевский лауреат в мужском туалете второго этажа, доподлинно не известно. Это – вольное предположение. Знаю, что там курили все старшеклассники, кроме спортсменов, а также примкнувшие ученики младших классов. Учительницы, а женский пол превалировал в преподавательском составе любой школы, к мальчикам не заходили. Иногда навещался великий Лафер. Говорили, что он был самым блистательным учителем математики в городе. Охотно верю. Он входил в неизменной гимнастерке, оглядывал застывших в оцепенении курильщиков и произносил сакраментальное: «*Курить – здоровью вредить!*». Со значением поднимал указательный палец, обозревал его при полном напряженном молчании и удалялся вместе со своим животом, поддерживаемым офицерским ремнем. Лафер в годы войны был военным летчиком. Также досконально известно, что уже значительно позже Клячкин звонил в Штаты Бродскому, спрашивая разрешения записать несколько песен на стихи прославленного соученика по школе № 203. «Ося, вы не возражаете, если я запишу диск песен на ваши стихи?» – «Женя, что хотите, то и делайте. Меня это уже совершенно не интересует...». Клячкин утонул, купаясь недалеко от Тель-Авива в Средиземном море).

Меня тоже загоняли с улицы в школу. Так было заманчиво вырваться из душного класса на мороз, на снег! Я не курил, так как был пловцом, подающим надежды, но этот недочет компенсировал всеми остальными пороками школьного возраста. В мое время Лафер сменил гимнастерку на выдавший виды пиджак. Говорил с прежним *акциэнт*ом. Математику давал так же гениально. Все его обожали.

Тени, тени... Из Анненкирхе выходит пастор Бахман. Он не один. С ним два чекиста. Чекисты молодые, застенчивые. Прихожане отворачиваются, будто ничего не произошло. Действительно, ничего особенного не произошло. Хотя ещё непривычно. 1934 год. Пастор сосредоточен, не суетлив. Он-то понимает, что это – конец не только ему, конец лютеранству и истинной вере в Совдепии. По поводу веры он не ошибся. Сам пастор выжил. Почти единственный. Пасторат Евангелической Церкви, состоявший более чем из 2000 членов, был уничтожен. Уцелело 3 человека. После лагерей в 1955 году пастор Евгений Бахман получил место для жительства в Акмоле, где создал единственную официально разрешенную в 1957 году

лютеранскую общину. Кирха же ушла в небытие – 1-го августа 1935 года превратилась в кино-театр имени восставшего раба. Улицу переименовали раньше – в 20-х годах.

Лютеранская община Петербурга сформировалась вокруг Литейного, позже Пушечного двора. Отечественных мастеров не было. Приглашали из Голландии, Дании, Германии, Шотландии. Мастера приезжали с семьями. Лютеранская община множилась, немцы, датчане, голландцы и прочие англичане ассимилировались. Анненкирхе при пасторе Артуре Мальмгрене к 17-му году была одним из самых крупных и посещаемых храмов города и центром евангелическо-лютеранского прихода Петрограда. Перед революцией в приходе Анненкирхе насчитывалось около 13 тысяч прихожан. Поэтому в 25-м году *Кирошная* улица была переименована в улицу «*Воинствующих безбожников*». В сотне метров от Анненкирхе – знаменитый Спасо-Преображенский собор. Перезвон колоколов этих храмов, как рассказывали старожилы, являл собой уникальный слаженный ансамбль. Разделяющая эти два храма улица – улица «*Воинствующих Безбожников*». Юморные люди были эти большевики! Не то, что нынешние: усердно молящиеся, со сморщенными лобиками.

Кукуруза – источник изобилия!

Воинствующие безбожники тоже были не бездарны. Свифтовские были ребята. Союз этих воинствующих безбожников в 1939 году предложил ввести новые названия месяцев. Так, январь назвать МЕСЯЦЕМ ЛЕНИНА, февраль – МЕСЯЦЕМ МАРКСА и т. д. Декабрь, конечно, – МЕСЯЦ СТАЛИНА. Самое точное название – август – МЕСЯЦ МИРА! «Пустеет воздух, птиц не слышно боле...» Не слышно. Не до августовских птиц было ни в Чехословакии 68-го года, ни в Москве 91-го или 98-го года, ни в Грузии 92-го или 2008 года, ни в Дагестане 99-го... «Я список кораблей прочел до середины: сей длинный выводок, сей поезд журавлиный...»

«Спартак» ненадолго пережил своего предка. Если Анненкирхе просуществовала около 215 лет (поначалу меняя свое место рас положение), то «Спартак» – всего лет 55. Собственно само здание на сквозном участке с Фурштатской на Пятую линию Литейной стороны было заложено в июле 1775 года по проекту Георга Фельтена – сына личного повара Петра Первого. «Спартак» же проектировали другие люди, к повару Петра отношения не имеющие, – А. И. Гегело и Л. С. Посвен. 1935 год – грань эпох. Последний епископ Евангелическо-Лютеранской церкви в России Артур Мальмгрэн после допросов в НКВД был в 1936 году выслан в Германию, последние пасторы арестованы в 1937 году. В 1938-м – упразднены все лютеранские приходы. Побаловали, и буде... Зрительный зал размещался в вытянутом нефе, обрамленном по периметру ионическими колоннами, которые поддерживали балкон. Места в первом ряду на балконе считались лучшими. Билеты на них распродавались в первую очередь. В новую эпоху исчезли не только орган и картина, но и статуи Петра и Павла. На кой леший они в кинотеатре. Самые неудобные места – за колоннами. Там было не только не слышно, но и не видно. Вообще, акустика была паршивая. Точнее – акустика была великолепная, говорят, орган звучал поразительно, лучше звучал только орган в Капелле. Каждое слово проповеди долетало до всех уголков храма. Для кинотеатра акустика не годилась. Такая незадача. Поэтому мы с папой часто ходили в малюсенький «Луч», мест на 60, на Некрасова. Там слышимость была идеальная. Однако нашим придворным кинотеатром, «родным домом» для школ, расположенных в районе Кирочной, и для нашей семьи был «Спартак». В начале 90-х здание отдали законным владельцам. Но ненадолго. Прибыльнее оказалось оборудовать бар с игральными автоматами и взимать налог в казну. Верующие обойдутся. В чью казну взимали, история умалчивает, но доподлинно известно, что в декабре 2002 года рано утром здание сгорело. Гигантский пожар тушили расчеты из 150 пожарных. Здание сгорело дотла, даже подземные коммуникации выгорели. Власти предложили оставшуюся золу и место под ней передать в

пользу лютеран города. Передали, чем долго и громко гордились. Нет, что ни говори, нынешние – тоже юморные ребята.

Лютеране, конечно, кирху возведут. Не будет органа Валкера, «Вознесения Христа», не будет той уникальной акустики, не будет тех прихожан и пастора Евгения Бахмана. Как не будет и «Спартака» – моего придворного кинотеатра с «Карнавальная ночь» в 1956 году, с концертами перед вечерними сеансами, с мороженым в хрустящем стаканчике и добродушной мороженщицей, опустошающей алюминиевый бидон, не будет контролеров, строго всматривающихся в лица юношей и девушек на вечерних сеансах: есть ли 16 лет. Не будет ничего из ушедшей эпохи. Будет нечто другое. Но не Анненкирхе. Не «Спартак».

И Фурштатская никогда не будет настоящей Фурштатской. Грациозные и мужественные лейб-гвардейцы Преображенского полка, фурштат (обоз) которого располагался в доме номер 21, не будут поспешать по своим неотложным делам, не забывая оказывать знаки внимания дамами и девицам в проезжающих экипажах. Никогда не подкатит к дому Алымовой коляска, из которой выйдет уставший Пушкин и быстро вбежит по лестнице в свою квартиру. Не присядет на скамейку напротив дома № 14 страстный оппонент автора «Онегина», бывший адмирал, а ныне Президент Литературной Академии Российской Александр Семенович Шишков, обдумывая «Славянорусский корнеслов» и недовольно пыхтя при воспоминании о своем портрете кисти Джорджа Доу. Из дома купца Елисеева (№ 27) не выйдет Анатолий Федорович Кони, будущий действительный тайный советник и член Государственного совета империи, а пока что блистательный судебный оратор, глава Санкт-Петербургского окружного суда, ведущий дело Веры Засулич. Не будет молодая певица, выпускница Петербургской Консерватории Тамара Папаташвили гулять по бульвару, вынашивая свое дитя (которое вырастет и станет Георгием Товстоноговым) и обходя стороной дом № 40 – солидный каменный особняк в 17 осей с пристроенным четырехэтажным флигелем. Этот дом обходили все обитатели Фурштатской. В нем с 1900 года размещался Штаб Отдельного корпуса жандармов в подчинении Министерства внутренних дел. Любопытное было заведение, нам непонятное... Не будет подъезжать к нему на казенном авто фирмы «Руссо-Балт» «хозяин» «страшного дома» – бывший Московский губернатор, Товарищ Министра Внутренних дел Империи, Командующий Отдельным Корпусом Жандармов свитский генерал Владимир Федорович Джунковский. Тот самый Джунковский, который сделал феерическую карьеру: за неполных десять лет взлетел от капитана до Московского губернатора, генерала Свиты от гвардейской пехоты, и молниеносно рухнул с вершин в 1915-м из-за противостояния с Распутиным и его камарильей; тот самый Джунковский, который, возглавив российскую жандармерию, повел решительную борьбу с провокаторством – «этой страшной», по его словам, «язвой, разъедающей полицию, армию, все общество», провокаторством, так усердно насаждавшимся его предшественниками П. Г. Курловым и С. П. Белецким, в первую очередь; тот самый Джунковский, который считал величайшим позором сотрудничество с Азефом, Шорниковой и другими и был инициатором выведения из Думы полицейского провокатора, члена ЦК партии большевиков Р. В. Малиновского; тот самый Шеф жандармов, который по этому поводу писал в своих воспоминаниях: «Я слишком уважал звание депутата и не мог допустить, чтобы членом Госдумы было лицо, состоявшее на службе Департамента полиции...»; тот самый Джунковский, который запретил вербовать агентуру среди учащейся молодежи и прикрыл институт сексотов в армии и на флоте; тот самый, которому в апреле 1918 года – то есть уже при большевиках – определили пенсию в размере 3270 рублей в месяц «как офицеру, лояльному к новой власти»... И впрямь – лояльному. Как свидетельствовали на допросах Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного правительства его оппоненты, он был «известным либералом, прославившимся своим покровительством красным в 1905 году», а бывший начальник Петроградской охраны, куратор Азефа, генерал А. В. Герасимов писал: «/Джунковский/ – тот самый, о котором мне в свое время сообщали, что в октябрьские дни 1905 года он, будучи московским вице-губер-

натором, вместе с революционерами-демонстрантами под красным флагом ходил от тюрьмы к тюрьме для того, чтобы освободить заключенных». Однако великодушием, милосердием и справедливостью чекисты страдали недолго. В сентябре 1918 Джунковского замели. Сидел он в Бутырках, в Таганской тюрьме. В 1921-м ВЦИК постановил Джунковского освободить. Неразбериха творилась, или кто-то вспомнил своего освободителя в 1905-м. На свободе работал церковным сторожем, давал частные уроки французского. В 1938 расстрелян на Бутовском полигоне. Так что уж точно он не подъедет к особняку с флигелем на Фурштатской на авто «Руссо-Балт». Нечего было господ революционэров освободать. И перестанут этот дом № 40 обходить стороной... А в доме № 50 не будет подолгу гореть свет в окнах первого этажа, выходящих в садик: Николай Семенович Лесков не будет засиживаться над «Законом», «Зимним вечером», «Дамой и фефелой» – своими новыми, во всех смыслах, творениями: «*Мои последние произведения о русском обществе весьма жестоки... Эти вещи не нравятся публике за цинизм и прямоту. Да я и не хочу нравиться публике. Пусть она хоть давится моими рассказами, да читает*». Председатель Совета министров Российской Империи, действительный тайный советник 1-го класса Иван Логгинович Горемыкин не будет неспешно прогуливаться по безлюдному бульвару поздним вечером, обдумывая свои невеселые мысли: дела Империи плохи, и он – второй человек государства Российского – бессилен что-либо предпринять. Да ещё эта зловещая и не совсем справедливая репутация креатуры Распутина... Какие-то предчувствия – мрачные, тяжелые. Кровь на стене, крик. Мог встретиться ему живущий по соседству князь Виктор Сергеевич Кочубей, бывший адъютант наследника цесаревича Николая, а ныне Начальник Главного управления министерства Императорского Двора и Уделов. Раскланиваются. Раскланивались...

Никогда не станет кирха Анненкирхе, Фурштатская Фурштатской. Как и Петербург Петербургом, а Ленинград... Будет Город, внешне похожий. Наверняка, красавец. Лощеный. Незнакомец.

Надо бы представиться. Надо бы понравиться ему... «*Но мало времени уже...*». Да и не нужно.

*Так вот он, прежний чародей,
глядевший вдаль холодным взором
и гордый гулом и простором
своих волшебных площадей, —
теперь же, голодом томимый,
теперь же, падиший властелин,
он умер, скорбен и один...
О город, Пушкиным любимый,
как эти годы далеки!
Ты пал, замученный, в пустыне...
О, город бледный, где же ныне
твои туманы, рысаки,
и сизокрылые шинели,
и разноцветные огни?*

– *Пиво Жигулевское свежее, лимонад, пирожки горячие с мясом, печенье.*

– *Пирожки не советую, Ваше высочородие. Поберегите здоровьице. Аполлон Аполлоныч изволил проявить заботу...*

– *Пошел вон!..*

– *Не извольте беспокоиться. Исчезаю-с!*

Голос у дамы с пирожками и пивом густой, сытый. А зад... «Ой – йой – йой – У нее не зад, а праздничное шествие!» Аристофан бессмертен. Софокл и Еврипид со своим загробным антагонистом Эсхилом – культурное наследие. Дорогое и величественное. Аристофан – сегодняшний день. Можно перечитывать и наслаждаться, не думая о величии и бессмертии. Я бы на месте нынешних, то есть, после царского периода всплывших начальников его бы запретил. Слишком ассоциативен. Или, как нынче принято излагать в кругах номенклатурной аристократии, несет *аллюзии*. Сказать «намеки» они не могли и не могут. Не навеивает на статью. Аллюзия же... К стенке уже не поставить, но сломать жизнь, задушить в подворотне – раз плюнуть.

Где-то в самом конце 70-х (может быть, в 80-м) Лев Стукалов поставил «Лягушек». Стукалов – режиссер милостью Божьей. Естественно, каждая его работа в романовском Ленинграде воспринималась как вызов, провокация, эпатаж. Поэтому они были обречены на успех у театральной публики, особенно молодежи, равно как и на раздражение и обструкцию у приглядывающих. Если и были фиговые, то не в кармане, а на сцене, и произрастали они не от фантазий режиссера, а от внимательного прочтения текста. На самом же деле, это были талантливые, профессиональные и самобытные работы мыслящего художника. В те славные времена мыслить уже разрешалось, но только правильно. Естественно, что «Лягушкам» а priori гарантировались овалы. Так и было. После первых реплик Ксанфия и Диониса в зале хохот. «... *Вот шуточка отличная... А это: я издыхаю под тяжестью. / Снимите, а не то в штаны...*». «Лягушки», Стукалов, а ещё и Романцов в главной роли.

Странно и несправедливо сложилась судьба Александра Романцова, прожившего всего 57 лет. Хотя и удачно – быть ведущим артистом в труппе Товстоногова – счастье, улыбнувшееся не каждому замечательному актеру. Однако попроси сегодняшнего театрала назвать артистов БДТ, всех вспомнят, но не Романцова. И вообще, кроме знатоков и его поклонников вряд ли кто вспомнит. Если только по «Бандитскому Петербургу». Вспомнят Бабочкина и Полицеймако – из старого состава. Владислав Стрельчик – да, Кирилл Лавров, Ефим Копелян, Евгений Лебедев – конечно, Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих – бесспорно. Возможно, вспомнят Сергея Юрского, Татьяну Доронинову, Наталью Тенякову, Иннокентия Смоктуновского – тех, кто ушел, или кого ушли. По воле великого Гоги или маленького Романова – «злого гормонального карлика», как справедливо называл всемогущего диктатора Ленинграда заслуженный артист РФ Евгений Иванович Шевченко. В звездной труппе Товстоногова было нетрудно затеряться. Такого состава, пожалуй, не имел ни один драматический театр мира. Не повторяясь, прибавлю лишь Павла Луспекаева, Олега Борисова, Вадима Медведева, Николая Трофимова, Николая Корна, Михаила Данилова, Валерия Ивченко... Это – только мужчины и далеко не все. Однако дело было не только в этом – уникальном созвездии коллег Романцова. Он выпадал из общей атмосферы труппы, атмосферы глубокого, мудрого, реалистического психологизма, из той лучшей традиции русского театра с ее приверженностью к «искусству переживания», по Станиславскому, на которой были воспитаны и питомцы Товстоногова, и изысканная его публика. Романцов был парадоксален в решении даже хрестоматийных ролей, виртуозен (чем, кстати, отличалось большинство его товарищей по театру), но *холодно* виртуозен, подчас *зло* виртуозен, тяготел скорее к гротеску и абсурдизму, нежели к реализму, хотя всегда был предельно, болезненно достоверен, был обнаженно эмоционален, но всегда с очень мощным рациональным, интеллектуальным началом. Таким я его помню. Таким он был в «Лягушках». На такого Романцова и устремлялась *его* публика. Однако кроме него в «Лягушках» работала и прекрасная когорта профессиональных молодых актеров – подвижников Мастерской ленинградского ВТО: Кира Датешидзе – и актер превосходный, и, впоследствии, режиссер оригинальный. Владимир Курашкин и Светлана Шейченко из Пушкинского театра, Люся Кулешова, Ира Яблонская, Володя Сиваков. У каждого – и репутация, и свой шлейф поклонников. Так что успех, повторюсь, был предсказуем.

Однако такого «лома» не припомню. Каждый спектакль – толпа перед входом, милиция, бедная замученная Неля Бродская. Жила она, что ли, в бывшем особняке Зинаиды Ивановны Юсуповой!? Все, что происходило заметного, талантливого и молодого в ВТО было связано с Нелей: капустники, творческие вечера, экспериментальные постановки, творческие клубы и посиделки – она всегда была нервом, двигателем и... охранителем, ибо присматривающие имели тонкое чутье. Естественно, что «Лягушки» тоже лежали на ее плечах. Помимо всех других забот, она ещё головой отвечала за старинные входные двери, пережившие блокаду: чтобы жаждущие и страждущие не снесли их... Помню: проталкиваю жену сквозь плотную наэлектризованную массу агрессивных театралов. Неля, осторожно приоткрыв массивную дубовую дверь ВТО, кричит: «Пропустите, пропустите. Это – актриса, она участвует. А это – ее муж!» – «Знаем этих мужей! Блатные! Не пускай, ребята!»... И так каждый спектакль. Менты дурели, не понимая, в чем фишка. Народ ломился на Аристофана.

Раскаты смеха и аплодисментов сопровождали весь спектакль. Однако кульминационный взрыв случался к концу спектакля, в «Агоне». Казалось, что именно на эти реплики рвался питерский люд конца 70-х.

*Эсхил. Город наш, ответь сперва,
Кем правится? Достойными людьми?*

*Дионис. Отнюдь!
Достойные в загоне.*

Эсхил. А в чести воры?

Дионис. Да не в чести, выходит поневоле так.

Шквал.

.....
Эсхил. ...А в годы мои у гребцов только слышны и были

Благодушные крики над сытным горшком и веселая песня: «Эй, ухнем!»

*Дионис. От натуги вдобавок воняли они
прямо в рожу соседям по трюму,
У товарищей крали похлебку тишком
и плащи у прохожих сдирали.*

Хохот.

Но самый пик восторга публики – изысканной, профессиональной:

*Дионис. Другой совет подайте мне, пожалуйста,
Про город: где и в чем найдет спасенье он?*

*Эсхил. Когда страну враждебную своей считать
Не станем, а свою – пределом вражеским...*

Обвал.

Какая аллюзия?? Прямой авторский текст. А то, что Аристофан был провидцем, не вина Стукалова или Романцова. В это время советская армия утюжила просторы Афганщины, оказывая братскую интернациональную помощь местному пролетариату и лично товарищу Бабраку Кармалю.

*Самолёт летит – крылья хлопают,
А в нём Кармаль сидит – водку лопают,
Водку лопают, рожка красная,
Он в Кабул летит – дело ясное!*

Народ знал, что Бабрак был алкоголиком.

...Утюжила, утюжит, будет утюжить. И не армия, а *ограниченный контингент*. Всплывшие начальники пользоваться просто русским языком не могут. Только языком *глубокого*

смысла. Не оккупация, а *принуждение к миру*, не аннексия, а *восстановление исторических границ*. Банда профессиональных головорезов и мародеров – *миротворческие силы*. И контингент был очень ограниченный. Только погибших «афганцев» – призывников и профессионалов – в конце концов насчитали около 26 тысяч. Армянское радио спрашивают: «Что такое татаро-монгольское иго?» – «Это временный ввод ограниченного контингента татаро-монгольских войск на территорию Руси». И не утешит, а оказывает *интернациональную* помощь. Венгрии, Чехословакии, Анголе, Вьетнаму, Афгану, Грузии, Мозамбику, Украине, далее – везде. Правда, Аристофан этих стран не называл. Всех называть, комедий не хватит. «Почему наши войска послали в Афганистан? – Начали по алфавиту»...

Чудное было время. Народ смеялся. «С кем граничит СССР? – С кем хочет, с тем и граничит!» – смеялись. Замороженная, коммунистами опоганенная, но здоровая, все же, была страна. Нынче же спроси такое про Россию, люто и праведно вознегодуют, трясая бородами и пудовыми крестами на жирных грудях. Хорошо бы, если только бородатые и грудастые, но и утонченные интеллигенты – оппозиционеры и страдальцы туда же, блеснув очками или тюремной стрижкой: «И мы патриоты»... Суверенное, блядь, право. Аполлон Аполлоныч свое дело знает...

...Хотя... Авось и очухаются. Не может же начисто исчезнуть инстинкт самосохранения у великой нации. Ведь проклюнулось из будущего: «"Титаник" присоединил к себе Айсберг. Все в восторге: "Айсберг наш, Айсберг наш!" Оркестр играет браваурную музыку. Дальнейшее известно»...

Когда-то истинный ленинградец Сергей Довлатов заметил: «Юмор – украшение нации. В самые дикие, самые беспросветные годы не умирала язвительная и горькая, простодушная и затейливая российская шутка. Хочется думать – пока мы способны шутить, мы остаемся великим народом». Времена беспросветные наступили, но что-то (не)затейливой шуткой не пахнет.

«Пиво свежее, остались пирожки с мясом, лимонад, печенье...» Лицо задумчивое, отрешенное, розовое. Глаза с поволокой. А зад... Надо же придумать: «... а праздничное шествие»...

Тени, тени... Генерал-фельдцейхмейстер шотландец Яков Брюс, младший брат Романа Брюса, первого обер-коменданта Санкт-Петербурга, осматривает окраину немецкой слободы. Топко, гибло. Однако вверенному ему Литейному двору необходима лютеранская церковь и школа при ней. Капля в море. Но капля и камень точит. Сам Яков Вилимович знает шесть европейских языков, его личная библиотека насчитывает полторы тысячи томов, сейчас он заканчивает русско-голландский словарь. Им созданный учебник по геометрии – первый в России – уже обязателен в Навигационной школе. Поэтому его не любят – белая ворона – называют чернокнижником, чародеем, масоном. Последнее – верно. Яков Вилимович – первый русский масон. Не любят, но держат. И Петр Алексеич жалуется, и сам Яков Вилимович сторонкой держится, не в подозрении, что какой партии благоволит, но, главное, как без него артиллерию наладить и науки вводить... Стоп! Место для кирхи выбрано. Полностью достроенное здание было освящено в Вербное воскресенье 1722 года, Богослужение провел Пастор-на-Неве – Иоганн Леонард Шаттер. Яков Брюс, уже в графское достоинство возведенный в знак Высочайшей благодарности за дипломатическую викторию на Ништадтском конгрессе, был доволен своим выбором. Славная кирха...

...Бал выпускников Анненшуле – школы при Анненкирхе. Играет Преображенского лейб-гвардии полка духовой оркестр. Оркестр недавно вернулся из Франции. Там на Всемирной выставке 1897 года в Париже он был признан лучшим духовым оркестром. Командующий полком Великий князь Константин Константинович доволен своим детищем. Он также присутствует на балу. Директор Анненшуле, знаменитый педагог и администратор Йозеф Кениг, произносит в актовом зале на втором этаже (просторной – потолки в два пролета – гулкой, свет-

лой) приветственное слово. Среди присутствующих выпускников прошлых лет В. В. Струве, П. Ф. Лесгафт, Э. Э. Эйхвальд, А. Ф. Кони, А. К. Беггров. Жаль, одноклассник наш, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, не дожил, но он – вместе с нами, господа... Царство теней.

...Тени, тени. Молодые энергичные люди гурьбой устремляются к «Спартаку». Два часа перерыв. Как раз успеют на сеанс. Заодно и сентябрьским бодрящим воздухом подышат. От Дома офицеров до «Спартака» – шагов сто – сто пятьдесят. Удобно! В просторном зале душно, так как процесс открытый, народу допущено чрезмерно. Поэтому работать трудно. Хохотать, свистеть, улюлюкать, аплодировать обвинителю. Замотришься в душегубке. А тут такой подарок судьбы – перерыв. Что там в «Спартаке»? «Искатели счастья». Отлично. Этот Пиня – умора. Уж эти еврейчики. Оп-па. Фильм заменен. Но и «Кубанские казаки» хорошо. Новое кино. Праздничное. Соответствует настроению. Сразу показалось странным, что ещё пускают фильм с арестованным Зюскиным и прочей братией. Ротозеи поплатятся, слов нет! Кубанские пролетели незаметно, и опять в зал. Выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР продолжает проведение открытого процесса участников «Ленинградского дела». Через четыре года, в 1954 году, в том же зале работать будет значительно легче. Публику на выездную сессию Военной коллегии почти не допустят. И правильно. Незачем афишировать процесс по делу организаторов «Ленинградского дела»: В. С. Абакумова, А. Г. Леонова и других членов банды Берия. Дышать в зале будет легко. Опять-таки можно сбегать по тонкому декабрьскому снежку в «Спартак», благо, недалеко – шагов сто – сто пятьдесят. Слов нет, хорошо работать в Доме офицеров. Вот если бы все процессы над врагами здесь проводили. А не танцы с концертами!

На работу – с радостью, с работы – с гордостью!

...Билеты, как сказала мама, нам достались хорошие. В двенадцатом ряду, середина. Мне будет плохо видно, но папа возьмет меня на руки. Я ещё не подозревал, что перед сеансом будет мороженое и концерт настоящих артистов. Я очень волновался. Нервный был мальчик. Волнительный.

Я волновался каждый раз, когда что-то делал впервые. Когда шел впервые в театр. Театр был самодеятельный, и мне очень понравилось. Название помню – «Слуга двух господ», а в чем там дело, забыл, да и не понял тогда, честно говоря. Помню, что очень понравилось. Самое хорошее было то, что с папой все здоровались, а папа говорил: «Это мой сын». И все восхищались. На сцене играли папины студенты. Мы сели на четырнадцатый троллейбус на остановке на углу Литейного и Пестеля, прямо напротив фотоателье, в витрине которого стояла большая моя фотография – я с белокурыми кудряшками. Мне эта фотография не нравилась: я был похож на девочку. Вообще, в очередях меня часто путали и называли девочкой. Поэтому я ненавидел очереди в магазинах, ломбарде, поликлинике и всюду. На четырнадцатом мы доехали до Технологического института, где папа работал, и пошли смотреть «Слугу двух господ».

Интересное тогда было время. В институтах были студенческие театры. Самый известный – театр-студия Университета. Ещё в 1949 там прозвучал студент философского факультета Игорь Горбачев. «Ревизор»! Я тогда этот феномен не заметил, но позже, в фильме, оценил. Философ из студийца Евгении Владимировны Карповой не получился, но Хлестаков – отменный. Лучшая роль народного артиста СССР. Пик. Будущий юрист – не состоявшийся, к счастью! – Сергей Юрский дебютировал в постановке «Тартюфа». Это уже, если не ошибаюсь, год 55–56-й. Премьера была шумной. Студент юридического факультета стал сразу же знаменит и любим. Помимо искрометного, *умного* и глубокого таланта за Юрским почему-то закрепился флер некоего слабоявленного, но притягательного нонконформизма. Филологами Татьяна Шуко и Иван Краско не стали, как не стал юристом популярнейший в свое время Леонид Харитонов («Иван Бровкин») или физиком Нелли Подгорная – звезда театра Советской армии, блистательно дебютировавшая в популярном некогда фильме «Дело Румянцева»,

а затем исчезнувшая с экранов, но советское искусство без этих и многих других имен студийцев талантливого подвижника Карповой было бы ущербно. «Ивана Бровкина» я смотрел в «Спартаке» с мамой и папой, а «Дело Румянцева» в дощатом летнем кинотеатре в Репино. Смотрел, переживал. Что-то было свежее в этих фильмах. Не напыщенно-лубочное.

Техноложка таким обилием имен не блистала. Хотя один Андрей Мягков – актер уникальный и личность во всех отношениях безупречная – дорогого стоит. Мало того, что женат – раз и навсегда. Никаких склок, скандалов, громких разводов, пьяных дебошей. И не представить подпись Андрея Васильевича под какой-нибудь гнусью рядом с подписью, скажем, Ланового, Говорухина или Михалкова. Главное же, он учился у папы. Играл ли он в «Слуге» – не знаю, не помню. Помню, что обратил на себя внимание он в «Лесной песне». Хотя неотчетливо... А «Слуга» мне очень понравился, но главное – папу все любили. Так мне казалось, и я был горд, что он – мой папа. Я ещё был пару раз у папы на работе. Один раз, когда мама лежала в больнице с аппендицитом. Папа вел лабораторные работы, а я бегал. Вошел Петр Григорьевич Романков – папин большой начальник. Несмотря на это, папа его любил. Я это чувствовал. По интонациям в голосе, по глазам. Мне казалось, что Петр Григорьевич был, как и папа, из «старорежимных». Романков, судя по всему, отвечал папе взаимностью. Многолетний проректор по науке, впоследствии член-корр. АН, папин зав. кафедрой, он обладал непоколебимым авторитетом и реальной властью. Вот он, войдя, и сказал, показывая на меня: «Это наш будущий аспирант бегаёт!» Я расстроился и запомнил, так как знал, что Романков – это сила, и его слова могут воплотиться в жизнь, а это было нежелательно: я был уверен, что аспирант и лаборант – это примерно одно и то же. Я – блокадный ребенок – часто болел, и мы с мамой носили в баночках мои анализы в детскую поликлинику, дом № 24 по Петра Лаврова – ту самую Фурштатскую, в бывший особняк в стиле «модерн» князя Кочубея, который адъютант наследника цесаревича Николая, а затем генерал-адъютант Императора Николая Второго, Начальник Главного управления министерства Императорского Двора и Уделов, помните? Представить, что я всю жизнь буду анализировать содержимое ночных горошков незнакомых мальчиков и девочек, я не мог. Поэтому аспирантом на Кафедре процессов и аппаратов химической промышленности не стал. А кем я стал? Кто я? Агент Аполлона Аполлоныча? Или его повелитель? Наемный убийца или пианист? Или псих ненормальный? Залы в особняке князя Кочубея и его жены княгини Белосельской-Белозерской были оббиты дубом, помню шикарные изразцовые печи, камин, лепнину. Лепнина была серая от пыли и напоминала то ли рожу сказочного злодея, то ли карту фантастической страны, изразцы печей растрескались или отвалились, стены были загажены бумажными объявлениями, плакатами ДОСААФ, прошлогодними стенгазетами, портретами полоумных старцев со звездами на груди. Камин служил урнами для отходов. Врачи были, как всегда, нищими, но тогда лечили хорошо. Без аппаратуры. У них были чистые мягкие руки и добрые глаза.

...«Угол Салтыкова-Щедрина». Родные слова. Всю жизнь с ними. Когда-то эту новость сообщала женщина-кондуктор с разноцветными катушками билетов на перманентно полной груди, сидевшая в дощатом загончике у входа в деревянный трамвайный вагон. Позже – вожакий, в хриплый матюгальник. Вагон уже металлический. Слова были неразборчивы, но интонация доброжелательная. Иногда с шутками или в стихах. «Угол Восстания и Бассейной. Выходи, пассажир рассеянный». – «Следующая – Литейный. Выходи, пассажир питейный!». Действительно, там был лабаз и около него очередь. Затем – механический голос без интонации, в прозе: «Следщ остнк угол сщсщср и л-ит-т-т-ттт», – окончание загадочной фразы договаривалось непосредственно перед следующей остановкой «Улица Петра Лаврова». На углу Петра Лаврова и Литейного тоже был гастроном. Меня там – в винном отделе – знали в лицо. Со временем винный отдел исчез. Исчез и я.

Вот и Тверь. Долго стоять не будем. Это раньше можно было выйти и выпить пива. Почему-то кажется, что в Калининне – Твери пиво было неразбавленное. Неразбавленное пиво,

молодая Волга, «Черное домино» – это моя Тверь. Знаменитая опера Обера была написана в 1837 году. А в 1965 году эту оперу привезли в славный град Калинин – не состоявшуюся, увы, столицу России – студенты Оперной студии Консерватории. Даниэль-Франсуа-Эспри был интересной личностью. Помимо нескольких десятков опер он – автор гимна Франции *La Parisienne* (1830–1848 гг.). Дуэт *Amour sacre de la patrie* из «Немой из Портичи» воспринимался как вторая Марсельеза, а представление этой оперы с великим Адольфом Нурри в главной партии в Брюсселе 26 августа 1830 года имело такой успех, такой резонанс, что вызвало революцию, приведшую к отделению Бельгии от Нидерландов. Сила искусства! Сам композитор – «автор второй Марсельезы» – умер от разрыва сердца в мае 1871 года, не выдержав ужасов Парижской коммуны.

Никаких политических потрясений «Черное домино» в Калинин не вызвало, да и Нурри уж давно ушел в мир иной. Но пили мы хорошо. Сначала труппу Оперной студии во главе с Юрием Симоновым (впоследствии – главным дирижером Большого театра) привезли в Клин. Тогда всех близлежащих возили поклониться Чайковскому – официальному гению. Экскурсию, конечно, я вел самолично. Говорить про соловья, разливавшегося не хуже того самого Нурри, бессмысленно. Это надо было видеть и слышать. Но после всех слов и надписей в книге почета, труппу увезли обратно в город к вечернему спектаклю. Но я не так был прост, чтобы упустить случай – и уже договорился...

Солнечное утро, набережная Афанасия Никитина, белеющий вдалеке Свято-Екатерининский монастырь с зеленоватыми куполом и шпилем, гладь ещё робкой, но набирающей мощь Волги, особенно после воссоединения с Тверцом и Тьмакой, цепляющаяся руками за нашу лодку девушка с ореолом распластанных по воде густых длинных волос. Ее зовут Аннушка. Она кокетливо смеется и обещает прийти на спектакль. Конечно, обманула. Мы – ещё трезвые. Утро. Памятник Михаилу Ярославовичу. Путевой дворец Екатерины Второй. Приветливые люди. Чистота. Покой.

Я в спектакле не пел и не танцевал, поэтому подкрепился заранее. Что там происходило в «Черном домино», не помню, да я и не прислушивался, не присматривался. Я ждал окончания. Ждал не напрасно.

...Как хорошо, что на фаготе в оркестре играл мой любимый фаготист и человек – Евгений Зильпер. Потом два дня голова напоминала гулкий чугунный колокол, и клинские экскурсанты ликовали от затейливо причудливой дикции экскурсовода, язык которого реагировал на нечеткую мысль в мозгу больной головы с опозданием и недоумением.

Чудный город Калинин. Чудный город Тверь. Ежели не сожгли бы его совместными усилиями монголы с москвичами Ивана Калиты в 1327 году, ежели бы не продолжавшееся изнурительное противостояние с Ордой и Москвой, противостояние героическое и успешное – в 1293 году ордынский полководец, царевич Дюдень со своей «Дюденовой ратью», разоривший Коломну, Владимир, Муром, Суздаль и другие мощно укрепленные города, не решился штурмовать Тверь. Сам Дмитрий Донской в 1375 году не смог взять этот город, – так вот ежели бы не противостояние, длившееся столетиями, когда Тверь была самым мощным и непримиримым противником Орды, то быть бы Твери столицей Российского государства (коей и была с 1304 по 1327 год). И жили бы мы в другой стране. В другом мире. Княгиня Тверская Анна (Кашинская – *благочерная*) – жена казненного в Орде князя Михаила Ярославовича Тверского, мать казненных там же князей Дмитрия Грозные Очи и Александра Тверского, а также бабушка казненного там же внука Федора Александровича – не случайно добивалась – и добила браком своего сына Димитрия с дочерью Великого князя литовского Гедимина – Марией. Тесные связи развивались долго, пока последний тверской князь Михаил Борисович не бежал в Литву. Это было в 1488 году, когда Иван III, наконец, не отвоевал Тверь... Значит, не срослось. Не суждено было нам жить в Европе, а суждено оставаться громадным осколком почившей Золотой Орды.

Чудный город Тверь. Больше я там никогда не был.

Я приехал в Ленинград. На двадцать пятом или девятнадцатом добренчал до Дома офицеров и сошел.

Дом офицеров... Мимо него я ходил каждый день. В школу, фланируя с потрепанным портфельчиком в руках, надеясь, что пронесет. Чаще – из школы, когда домой лучше было не торопиться. Переваривая исключение из школы, помню, долго стоял и разглядывал рекламные щиты. «Курсы кройки и шитья. По вторникам и четвергам с шести до восьми вечера. Запись в билетной кассе». Билетная касса размещалась на углу Литейного и Кировой, а за углом, со стороны Салтыкова-Щедрина, была моя придворная парикмахерская, пол-этажа вверх. «Вам полубоксик или полечку? Канадочку? С одеколончиком, конечно!.. Нет?!» – вздох разочарования. Стрижка рывками, больно. «Одеколоном поливать не надо, но запишите!» Руки делаются ласковыми, порхающими. Неужели и тогда были приписки? Ненавижу «Шипр» не менее «Тройного одеколона». Пахнет офицерами. «Лекция о международном положении. Лектор – канд. истор. наук полковник...» – фамилию кандидата-полковника не помню. «**Вам – женщины! Концерт артистов Ленэстрады.** Участвуют: засл. арт РСФСР Леонид Кострица, орденносец Герман Орлов, артисты эстрады Аркадий Стручков и Юрий Аптекман, Алла Ким и Шалва Лаури, Генрих и Вера Сиухины, Михаил Павлов и др. Ведет концерт Владимир Дорошев». «Занятия Фотокружка отменяются». «**Музы не молчали.** К 15-летию снятия блокады Ленинграда. В концерте принимают участие: орденносец Ольга Нестерова и Анатолий Александрович, Александр Перельман, лаур. межд. конк. Валерий Васильев, Юрий Шахнов. Лектор – Григорий Полячек».

Какие имена! Классика советской эстрады! Однако тогда эти фамилии мне ничего не говорили. Я и не вчитывался. Не до того было. Значительно позже Судьба осчастливила меня знакомством и сотрудничеством с ними. Тогда же надо было являться домой с вызовом к директору. Знакомо было «Александрович», да и то потому, что был популярен Михаил Александрович, и я принимал Анатолия за Михаила. Мама его очень любила – Михаила. Тогда было три партии, кроме коммунистической. Партия Лемешева – «сыры» – самая многочисленная и шумная, фанатичная. Партия Козловского – я не был знаком с членами этой партии, и партия Михаила Александровича. Это была спокойная интеллигентная партия. Полуконспиративная, хотя Сталин и ценил этого синагогального кантора, любил его голос, действительно, уникальный. И ещё знал (я, а не Сталин) голос Перельмана. Я после войны часто болел и, лежа в кровати с завязанным горлом, слушал радио. Завораживающий голос. Голос с интонациями русского аристократа, говорок уральского – бажовского – мастерового, переливчатая вязь местечкового мыслителя или прованского хитреца – Брюньона. Всегда голос мудрого и благородного человека. Петербуржца. Короля Лира. Позже я понял, как мне повезло в те голодные послевоенные ленинградские годы, когда я часто болел. Александр Абрамович Перельман.

– Ну, что, *голубчик* пианист? Небошь в штаны наложил. Боиш-ш-шься, Борис Николаевич на дуэль вызовет?! Боиш-ш-шься!

– Ничего я не боюсь!

– Отчего же-с, хотелось бы знать...

– В связях, *голубчик* посыльный Аполлона Аполлоныча, я с чужими женами, внуками великих химиков не состою. И не помышляю.

– Не состоите. Но в скважинку заглядываете. Его творением вдохновляетесь. Своего не хватает-с!

– Со свечей стояли?

– Из доносиков знаю. Стучите-с помаленьку...

– Но не по принуждению, а по велению сердца.

– Как Александр Александрович?

– Не хапай, сука, великого поэта!

– Это кто великий? «В белом венчике из роз» – большевикам продался.

- Он не продан – соблазнился, а ты, пидор македонский, запродан им.
- Нет, голубчик, я не запродан им. Я «им» и есть. А ты у меня на посылках.

Я и впрямь не боялся. Дуэль так дуэль. И не вызовет. Так как помер. А коль бы и не помер, Белый – это не Гумилев. Хотя и Гумилев промахнулся, стреляя в Волошина. Приспичило им из дуэльных пистолетов XIX века стреляться. Нет, чтобы из ППШ шарахнуть друг друга... Я одного боялся. До ужаса. До леденеющих кончиков пальцев. Вдруг прав Бунин?! Вдруг автор моего любимого «Петербурга» вернется в Совдепию?

Вернется.

Чудное было время. Жизнь состояла из событий. Хорошая передача по радио (скажем, «Театр у микрофона» с великими МХАТовскими актерами, или трансляция «Евгения Онегина», или «Невидимого града Китежа» из Большого театра) – событие. Письмо – событие. Тогда писали письма. Писали, переписывали, вымарывали, обдумывали, редактировали. Оставались черновики. Черновики, варианты – порой бесчисленные – художественных произведений, статей, воспоминаний. Вели дневники. Всё это – черновики, правки, зачеркнутые, но прочитываемые фрагменты черновиков и правок, – осталось, и все эти письма, дневники, варианты порой значили больше для понимания этих произведений, их авторов и того ушедшего времени, нежели беловые публикации.

Позвонить по телефону – событие. Небольшое, но событие. Надо было наменять пятнадцати-, а позже, с января 1961 года, двухкопеечные монеты, найти будку с работающим аппаратом, а лучше несколько будок рядом, чтобы никто не стоял над душой, сосредоточиться и набрать номер. А-1-11-83 – «Самарий Ильич, это Саша». И сердце выскакивает из груди. Или: «Алло, позовите Тамару, пожалуйста!» Номер этого телефона забыл. Все стал забывать.

Поход в кино был событием. Билеты брали заранее, иногда за несколько дней, часто выстаивая в очередях. Или покупали абонементы. Так было вернее. Иначе на некоторые фильмы было не попасть. На вечерние сеансы шли за полчаса. Как минимум. До сеанса был концерт. До концерта – мороженое. В нашем придворном «Спартаке» мороженое было в большом алюминиевом бидоне. Бидон помещался в тележке со льдом. Приветливая пожилая женщина, с которой мои родители всегда здоровались и перекидывались фразами о погоде или предстоящем фильме, – мороженщица сама была киноманом и разбиралась в кинопродукции, отдавая предпочтение трофейным фильмам, в чем сходилась с моими предками. Она выскребала большой, сделанной из того же алюминия ложкой необычайно вкусное мороженое – белые, розовые или бежевые крупные ребристые шарики со стружкой, – аккуратно, но плотно вдавливая его в хрустящий, почти прозрачный вафельный стаканчик и результат своих трудов взвешивала. Стаканчик был вкуснее самого мороженого и съедался на сладкое. Я больше никогда такого мороженого из такого стаканчика не ел. Как звали женщину, не помню. Помню фильмы и концерты перед сеансами, когда на сцену выходила женщина в длинном бархатном платье темно-зеленого цвета и громко пела: «Казаки, казаки, едут по Берлину наши казаки...» или арию Марицы. Оркестры тогда были, как правило, высокого уровня, там часто играли музыканты лучших симфонических оркестров города – подхалтуривали. (Так, значительно позже, в начале 60-х, в кинотеатрах перед сеансами играли на альтах, будучи ещё студентами, Юрий Темирканов и Юрий Симонов, впоследствии – выдающиеся дирижеры). Исполнялась не только советская эстрадная музыка, но популярная классическая. Лучший камерный коллектив в то время работал в «Художественном» на Невском, там подрабатывали в свободное время оркестранты из Заслуженного коллектива или Кировского театра. (До войны в «Художественном» играл джаз Якова Скоморовского и пела Клавдия Шульженко, известная лишь завсегдатаям этого кинотеатра).

Интересная вещь – память. Избирательная и щадящая. Вот помню женщин-кондукторов только с перманентно полной грудью, хотя были и худенькие, изнеможенные. Но юный глаз останавливался на полногрудых. Поэтому и запомнил. Были и мужчины-кондукторы.

Их почему-то было жалко. Мужчина-вагоновожатый – это нормально, а кондуктор – жаль. Поэтому и не запомнил. Так и с фильмами.

«У стен Малапаги» я не смотрел, но помню. Это – где-то 50-й год. Я пошел в первый класс. Меня на этот фильм не брали. Маленький ещё и не пойму. Но мама плакала после этого фильма. Это я знал. И они с папой смотрели его несколько раз. Перед «Спартаком» на чугунной ограде висели стенды с фотографиями из идущих и предполагаемых фильмов. С левой стороны от ворот то, что идет сегодня, а с правой – то, что планируется. Я долго стоял у фото, пытаюсь домыслить, дофантазировать, что же там происходит, почему мама плакала. Запомнилось лицо мужчины. Это был молодой Жан Габен. Казалось, что он – какой-то преступник, но хороший. И ещё – лестница. Обшарпанная и безнадежная.

Мама плакала редко. Ещё раз после кино она плакала через несколько лет. Это были «Летят журавли». Папа никак не мог ее успокоить. У нее случилась истерика. Они стояли на Невском, и люди, покидавшие после сеанса кинотеатр «Нева», обходили их и не удивлялись. Многие плакали. Тогда, в 1957 году, прошло всего 12 лет после войны. И время было чудное – люди не разучились плакать и сопереживать. И фильмы вдруг стали способствовать состраданию, любви, пробуждению памяти. Даже если она горькая.

Все было событием. Не только поход в кино, но и сами фильмы. Некоторые становились вехами в сознании, определяли стиль поведения, вскрывали нечто потаенное и неосознанное. У разных людей, у людей разного социального положения, образования, уровня культуры это были разные фильмы, но были такие ленты, которые покоряли всех, причем совсем неожиданно и часто вопреки своим художественным достоинствам. Одним из первых таких фильмов был «Бродяга», ошеломивший советского человека в самом конце 1954 года. Стали одеваться «под Капура». Пацаны называли лидеров своих дворовых или школьных ватаг Джаггой. Девочки бредили Наргис. Мальчики тоже. Песенка бродяги – «Авараву» или что-то в этом духе – «Бродяга я – а-а-а-а» – возглавила список заказов «Концертов по заявкам». А это была самая популярная радиопередача.

*Радж Капур,
Посмотри на этих дур:
Все московские стилиаги
Помешались на Бродяге.*

Так пели на мотив популярной песни из фильма шутники, которые, однако, умудрялись по несколько раз посмотреть этот первый шедевр индийского кинематографа. Радж Капур стал культовой фигурой, героем советского сознания. На «Бродягу», как и следующий фильм Капура – «голубоглазого короля Востока» – «Господин 420», билеты было не достать даже на повторных прокатах этих лент («Бродяга», побив все рекорды, выходил в прокат ещё четыре раза: в самом конце 50-х, в 1966, в конце 70-х и в середине 80-х). Такого кино у нас ещё не видели. Все в нем сошлось: неповторимое обаяние звездной пары – Раджа Капура и Наргис, очаровательная искренность их экранного существования, бесконечная музыка с танцами – тогда эта приправа была в новинку и покоряла, социальная критика пороков буржуазного мира в духе социализма «по Неру» и неподдельная лирика... Но главное – мелодрама. Мелодрама вообще властвовала над нашими душами, измученными тоскливой казармой всего тогдашнего мироустройства страны победившего социализма и его выморочным лозунговым искусством. Надо было выплакаться, распустив крепко сжатые онемевшие от напряжения губы. Поэтому длинные очереди в кассы предварительной продажи опоясывали кинотеатры и близлежащие дома, когда предполагался показ, скажем, «Моста Ватерлоо» или «Леди Гамильтон». Эти фильмы были сняты до войны, но до нас они дошли в виде «трофейных», уже после ее окончания. Вообще трофейные фильмы, на которых держался финансовый план советских

кинотеатров, нанесли сокрушительный удар по сознанию советского человека. Однако публика с этих и других подобных фильмов (хотя эти два названных с изумительной Вивьен Ли возвышались над всем остальным трофейным наследством) уходила в слезах. После Бродяги слез не было. Вернее, возможно, и были, но это были не слезы отчаяния и безнадежности. Капур нашел удивительный сплав: мелодрама с оптимистической улыбкой в духе Чарли Чаплина, свою связь с которым Капур не скрывал – характерные усики, укороченные штаны, пластика. Главное – дух его фильмов, в которых большая и чистая любовь есть маяк в беспросветном существовании, а юмор не дает отчаянию овладеть и героям, и зрителям. Даже грустный финал «Бродяги» внушал надежду... Как мы все в ней нуждались! Юные не могли без нее устремляться в жизнь, их родители хотя бы в темном и душном зале кинотеатра оживали душой. После «Сказания о земле Сибирской», «Кавалера Золотой Звезды» или «Заговора обреченных» «Бродяга» был потрясением.

Эти события и сейчас согревают память. А память дает надежду прожить вторую жизнь. Хотя фильмы изменились и длинные очереди не опоясывают городские кварталы. И в несуществующем «Спартаке» не получишь ребристый шарик мороженого в вафельном стаканчике, и не выйдет женщина в длинном зеленом платье петь про казаков в Берлине.

Нет, хорошо все-таки, что из Анненкирхе сделали «Спартак», а не овощной склад. И не бассейн. Из бассейна делать опять кирху хлопотно: куда, к примеру, убрать бетонную чашу бассейна. Впрочем, нынешние все могут. И в бассейне сделать кирху. Как мода продиктует. Подняли пол на 4 метра, похерили уникальную систему кирпичных сводов, покончили с идеальной акустикой. Служба ныне идет, но это не Петрикирхе. Всё – муляжи с микрофонами. Слава Богу, пока что не сажают евангелистов-лютеран.

Негласное соперничество и потаенная ревность, конечно, были. Наша старше: первое деревянное здание Анненкирхе построено в 1704 году. Но в Петрикирхе был самый большой в городе орган фирмы «Валкер» с 3753 трубами, и росписи огромного зала поражали роскошью: в алтаре – Гольбейн-младший: «Иисус с Фомой неверующим» и полотно «Распятие» Карла Брюллова и его же парные медальоны – Петр и Павел. (Куда все это делось во времена бассейна и складов? Что-то прибрал к рукам «Русский музей», – ему не привыкать – что плохо лежит; остальное, якобы, пропало – кто проверит?). Выпускники нашей Анненшуле – знаменитости, но и в Петришуле – не пролетарии учились, однако там «имен», казалось, больше, что огорчало. Модест Мусоргский и Даниил Хармс, Юрий Лотман и Павел Вяземский, Ефим Эткинд и Карл Росси, Федор Вадковский и Надежда Голубовская, Нина Дорлиак и Сева Новгородцев, генерал-майор Михаил Фонвизин с братом Иваном – декабристы и генерал от инфантерии Николай Волконский – дед Льва Толстого (во многом прообраз старого Болконского). Ученых же с мировым именем не счесть. Все они могли перевесить наших Николая Миклухо-Маклая и Бориса Гребенщикова, Елену Грановскую и Карла Фаберже, Виктора Корчного и Сергея Мартинсона (плюс всех ученых, но меньшим количеством). К тому же «там» училась любимица ленинградцев Елена Юнгер и позже – уже в школе № 222 – всем известные Михаил Казаков и Александр Хачинский, зато «у нас» – Сергей Дрейден.

«Там» в самом начале XX века получил казенную квартиру преподаватель, затем заместитель директора Главного Немецкого училища Св. Петра (Петришуле) Александр Германович Вульфийус – известный историк, выдающийся медиевист, исследователь средневековой духовной культуры, в первую очередь религиозной. Квартира размещалась в учебном корпусе училища позади Церкви св. Петра. «Петербургские» Вульфийусы вели свою историю от рижского купца Александра Эммануила Вульфийуса, сын которого, Герман, в первой половине 19-го века переехал в столицу на Неве. Эти Вульфийусы являлись тем уникальным островком европейской – германской культуры, без которой подлинный град Петров не представляем и не воссоздаваем в памяти.

Кого и чего не видела квартира Александра Германовича?! Мария Юдина – страстная, неукротимая, гениальная. Бескомпромиссная и убежденно ищущая. Ещё с юности погруженная не только в музыкальный, но и философско-религиозный мир, она находит в Петербурге – в «Круге Бахтина», в кружке Г. Федотова «Переоценка ценностей», в кружке А. Мейера «Воскресенья» и, конечно, в квартире Вульфийусов – ту необходимую ей атмосферу, к которой привыкла в Невеле и в которой нуждалась в новом для нее Петрограде.

Юдина, конечно, одна из самых мощных фигур русской культуры XX века. Ещё в далекой юной – невельской – поре своей жизни, 15-летняя, она поражала своим интеллектом, начитанностью, талантом музыканта-мыслителя небывалого своеобразия и неюношеской глубины – в 13 лет была принята в Консерваторию, – совершенным знанием (к 19-ти годам) немецкого, французского языков, латыни, трудов Вл. Соловьева, Сергея Трубецкого, Павла Флоренского (с которым позже состояла в многолетней переписке). Именно в родном Невеле она вошла в круг Михаила Бахтина, круг интеллектуалов, таких, как впоследствии ставшие известными русский философ Матвей Каган, литературовед и музыковед Лев Пумпянский, философ, лингвист, музыковед Валентин Волошинов; к ним позже присоединился Иван Соллертинский (бывший в разы многограннее, глубже, мудрее и энциклопедически эрудированнее, нежели представал в байках И. Андроникова), Павел Медведев – участник «Витебского ренессанса» (последний перед октябрьским переворотом городской голова Витебска), выдающийся историк и теоретик литературы, *«самый популярный из наших преподавателей, профессор /Ленинградского университета/ Медведев, известный лектор, которого знал весь Ленинград»*, как писал впоследствии Анатолий Краснов-Левитин, откликаясь на арест Медведева. Это был круг самой изысканной интеллектуальной элиты России.

Родившаяся в еврейской семье – Невель входил в черту оседлости, – Мария Вениаминовна Юдина крестилась в 1911 году и большую часть жизни была убежденной «тихоновкой», то есть не принимала сергианство, Московскую Патриаршую церковь. Лишь в 50-х, если не позже, под влиянием о. Николая Голубцова, протоиерея Русской Православной церкви, она все же перешла, «вернулась», по ее словам, в лоно официальной церкви. Чем и как убедил ее о. Голубцов, не знаю, но известно, что был он человеком чрезвычайно достойным. (В те странные времена большинство служителей Православной церкви были людьми чрезвычайно достойными, во всяком случае, так нам тогда казалось, мы к ним тянулись... Далекие времена. Ушедшие.) Его духовным чадом некогда был о. Александр Мень; дочь Иосифа Сталина Светлана, которую о. Николай крестил в 1962 году, вспоминала: «Лицо одновременно простое и интеллигентное, полное внутренней силы. Он быстро пожал мне руку, как будто мы старые знакомые, сел на скамью у стены, положил ногу на ногу и пригласил меня сесть рядом. Я растерялась, потому что его поведение было обыкновенным. Он расспрашивал меня о детях, о работе, и я вдруг начала говорить ему все, еще не понимая, что это – исповедь. Наконец я призналась ему, что не знаю, как нужно разговаривать со священником, и прошу меня простить за это. Он улыбнулся и сказал: "Как с обыкновенным человеком"».

Крестившись, Юдина не закончила, а лишь начала свой путь к Богу. Путь, простиравшийся до ее последних дней. Это – не фигура речи, это суть ее жизни. Так же, как не внешний обрядовый знак или, тем более, чудачество, а непреодолимая потребность только так – *босиком*, сойдя с поезда в Лейпциге, идти к собору св. Фомы, где находился саркофаг с останками И. С. Баха. (Юдину за границу не выпускали, две поездки в ГДР и Польшу – исключение). Для нее путь к Богу – путь через музыку, к музыке, к Баху. *«Я знаю лишь один путь к Богу – через искусство. Не утверждаю, что этот путь универсальный. Я знаю, что есть и другие дороги, но чувствую, что мне доступен лишь этот. Все божественное, духовное впервые явилось мне через искусство, через одну ветвь его – музыку»*, – сказано ею в 16 лет. Но не только через музыку, – и через философское осмысление этого пути. Поэтому ее подвижническое постижение религиозно-философского мировосприятия было не менее активным и

глубоким, нежели постижение своего искусства. Она притягивала к себе единомышленников, нет – не единомышленников – *единомыслие* в мире Юдиной было исключено, но *интеллектуальных единоверцев*, то есть верящих в плодотворность, необходимость и неизбежность философско-религиозных исканий и познания. Она притягивала, но и сама стремилась к своим единоверцам-мыслителям. Петербург начала XX века – Петроград – Ленинград 20-х (до начала 30-х), начиная с «Религиозно-философских собраний» Мережковского, немыслим без кружков подобного рода, в которых Юдина – одна из самых приметных знаковых фигур, без той атмосферы мучительного и радостного, часто героического, обреченного интеллектуального и духовного противостояния зоологическим временам, опустившимся на Россию.

Вернувшись в Петроград (после трехлетнего перерыва) в 1920 году и закончив в 1921 году с золотой медалью Консерваторию, она сразу вошла – впаялась в центр бурлящей интеллектуальной жизни города – бурлящей приватно, непублично, журфиксно. Эта замкнутость, «салонность», если хотите, при всем спартанско-нищенском существовании членов философских кружков, живое интеллектуальное общение, внешне аполитичное, – все это настораживало и озлобляло оперявшихся присматривающих более, нежели открытая политическая оппозиционность. Впрочем, плоды этой озлобленности и подозрительности взросли позже. Питерские чекисты учились выжидать.

В Петрограде в квартире Юдиной (*квартирах*, то есть комнатах: своего жилья она не имела, постоянно переезжая с одного адреса на другой) продолжает свою историю Бахтинский «кантовский семинар», берущий своё начало ещё с Невельских – Витебских времен. В Петрограде она прочно срослась с кругом Бахтина, постигая концепцию его главы о полифоническом диалоге в литературном произведении, который восходит к идее соборности – многополярности, плюрализма, симфоничности. Понятие «хронотопа», то есть закономерной связи пространственных и временных координат, введённых в гуманитарную науку Бахтиным, было чрезвычайно важно для Юдиной – музыканта и философа, особенно его постулат, что «*что жанр и жанровые разновидности определяются именно хронотопом, причем в литературе ведущим началом в хронотопе является время*».

Павел Медведев привлек постановкой проблемы чрезвычайно близкой и актуальной для Юдиной – проблемы *русского формализма*, получившей свое воплощение в вышедшей в 1928 году небывалой по тому времени монографии «Формальный метод в литературоведении» (которой восхищались Б. Пастернак, А. Белый), но ценность идей, положенных в основу монографии, первой осознала и громогласно заявила о них Юдина. Книгу по достоинству оценили и подлинными знатоки литературы – начинающий погромщик В. Ермилов, поднаторевший на доносах Н. Лесючевский, наконец, сам А. Фадеев, назвавший Медведева «ликвидатором пролетарского искусства».

С Иваном Ивановичем Соллертинским Марию Вениаминовну связывала страсть к музыке Баха и добаховского периода, но главным образом, неистребимая потребность пианистки в познании самой современной музыки и музыкальной философии Запада, которые были либо неизвестны, либо запрещены в Советской России; Соллертинский же был в этих делах великий дока.

Однако главное: не столько даже общение с уникальными личностями Круга и его главой – поистине великой фигурой европейского культурного пространства XX века, ценимой, кстати, в Англии («Бахтинский центр» при Шеффилдском университете), Франции, Штатах, Японии (где вышло первое в мире собрание сочинений Бахтина) более, нежели на родине в тот же период, – не столько общение с этими уже легендарными мыслителями, сколько само *бытие* в мире этого Круга, в атмосфере его нравственных, рационалистических, философско-религиозных, культурологических, лингвистических, исторических блужданий, исканий, споров и прозрений оказало неоспоримое воздействие на формирование облика Юдиной. Как

и наоборот: участие Юдиной в жизни Круга определило его неповторимое историческое звучание.

Через Круг Бахтина Юдина вышла на «Воскресенья» Александра Мейера, а взаимовлияние Юдиной и этого кружка трудно переоценить.

«Весной 1929 года на Соловках появились Александр Александрович Мейер и Ксения Анатольевна Половцева. У А. А. Мейера был десятилетний срок – самый высокий по тем временам, но которым «милостиво» заменили ему приговор к расстрелу... Это был необыкновенный человек. Он не уставал мыслить в любых условиях, старался все осмыслить философски... Для меня разговоры с А. А. Мейером и со всей окружавшей его соловецкой интеллигенцией были вторым (но первым по значению) университетом», – вспоминал значительно позже, когда не было в живых ни Мейера, ни Половцевой, ни Юдиной, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Если Батхина знают и высоко ценят в мире, что справедливо, и почти не знают на родине, что несправедливо, то Мейера не знают ни там, ни там.

Следует отметить, что Лихачев к этому времени – Соловецкому периоду – не был наивным новичком. Он был уже сформировавшимся мыслителем, ученым, активным членом «Братства Серафима Саровского», помимо всего прочего, автором известного в известных кругах «Доклада о действиях "Чрезвычайки" за первые пять лет после революции». Его оценке Мейера можно абсолютно доверять.

Ядро кружка «Воскресенья» начало формироваться в конце 17-го года. (Было несколько вариантов названия кружка – с разными окончаниями: «нье», «ние», «ния», «нья» – Мейер остановился на последнем, как на наиболее нейтральном и ни на что не претендующем – по названию дня недели, когда проходили собрания членов кружка. Это было весьма наивно, потому что там, где надо, прекрасно понимали и трактовали название: «Он /кружок/ получает название «Воскресенья», как символ воскресения, возрождения России», – значилось в «Обвинительном заключении» № 108). У истоков стояли люди замечательные, разные. Нина Викторовна Пигулевская – известный специалист по истории Византии и Ближнего Востока эпохи Средневековья и художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Антон Владимирович Карташов – последний обер-прокурор Священного Синода, авторитетнейший богослов и историк Русской Церкви, Иван Михайлович Гревс – основоположник русской медиевистики, превосходный знаток истории Римской империи, Георгий Петрович Федотов – выдающийся русский историк, теолог и философ, специалист Европейского Средневековья (ученик, кстати, Гревса), в эмиграции – религиозной культуры русского Средневековья, человек круга Николая Бердяева, Елизаветы Скобцовой (Кузьминой-Караваевой – Матери Марии) и других достойнейших русских мыслителей и деятелей. И, конечно, Александр Мейер и его «неофициальная» жена Ксения Анатольевна Половцева. (ОГПУ подробно фиксировала «особенности» личной жизни одного из лидеров «Воскресений»; так, в «Обвинительном заключении» по делу № 108, 1929 года, в связи с деятельностью «не официальной» жены Мейера – К. А. Половцевой, подчеркивается, что в «то же время Мейер продолжает жить со своей старой семьей»; кстати говоря, именно его законной жене Прасковье Васильевне Тыченко удалось предотвратить расстрел мужа, используя дореволюционное знакомство со Сталиным и Енукидзе – во время совместной с ними подпольной работы ее и мужа в Баку). Были ли религиозно-философские кружки А. Мейера политически ориентированы? – Да, постольку, поскольку именно так воспринимала их советская власть и ее чуткие органы, и по внутренним настроениям всех их членов (при многих разногласиях): никаких симпатий к большевизму они не испытывали и суть этого явления интуитивно постигали. Значительно позже, в 1944 году, выживший участник «академического дела» великолепный историк (феодалное землевладение в России – «сошное письмо», крестьянские движения и пр.), лучший знаток Опричнины академик С. Б. Веселовский подытожил в потаенном Дневнике свои размышления и суждения поделщиков: *«К чему мы пришли после сумасшествия и мерзостей семнадцатого года? Немецкий коричневый*

фашизм – против красного». Впрочем, на первых допросах некоторые заявляли себя «сочувствовавшими». (Стоит отметить, что ряд кружков имел резко выраженную антибольшевистскую и монархическую направленность, скажем, кружок Г. Г. Тайбалина, но эти кружки соприкасались с Мейером «по касательной»). Имела ли деятельность кружков Мейера выраженную оппозиционно-политическую направленность? – Конечно, нет. Основная, единственно значимая задача «Воскресений» и «собратьев», – восстановление и развитие культурных, нравственных, религиозных ценностей, утрачиваемых в новом обществе с катастрофической скоростью; решать эту задачу предполагалось путем частных – коллективных или индивидуальных – просветительских, религиозных и культурных акций. Бесспорно, политические суждения не могли не звучать: российская либеральная интеллигенция была воспитана на традиции критиковать власть, это были ее неотъемлемое право и обязанность от века. Однако потребность оппонировать любой власти, балансируя ее устремления и деяния, являлась рудиментом сознания кружковцев, которые в одночасье после Переворота не могли усвоить новые законы жизни «при Советах». «Воскресенья» декларировали себя содружеством людей *разного вероисповедания* религиозным постольку, поскольку они занимались обсуждением религиозных вопросов, социальных и нравственных проблем, исторических концепций и пр. После долгих споров кружковцы приняли идею Мейера о создании «единого фронта» разных религий, направленного против «общего врага» – атеизма, а точнее, воинствующего, агрессивного атеизма. Поэтому доступ в «Воскресения» был открыт людям и других вероисповеданий, наравне с православными, выполняющими главные требования «Воскресений». (В скобках можно заметить, что, полностью поддерживая суть идеи Мейера о равноправии всех вероисповеданий в обреченной борьбе за *свободу совести*, часть членов кружка – в том числе и М. Юдина, заявили о невозможности участвовать в общей молитве, предшествующей началу собраний, совместно с иноверцами; для такой молитвы они стали собираться отдельно по средам в собственных квартирах. Советским единомыслием в кружках Мейера заражены не были).

Терминология «создание единого фронта» против «общего врага» – из «Обвинительного заключения». По сути, это были «кружки по интересам», как назвали бы эту деятельность значительно позже. Разговоры, споры, доклады на историко-религиозные темы – попытки (одни из последних) русской интеллигенции, не разучившейся ещё свободно мыслить, заниматься независимой духовной работой, без согласования с властью, без оглядки на нее, вопреки ей, что воспринималось этой властью как опасная форма покушения на основы созданного ею политического режима. Впрочем, рассуждения о том, что, к примеру, «соединение пролетариев всех стран» есть национальное обезличивание, «интернационал» – «суррогат вселенского братства», подданные этой «Державы Интернационала» есть изменники национального и всеобщего творчества, что только «религиозное понимание истории может дать выход из противоречий между нациями» и прочие подобные суждения – все они не могли не вызывать элементарного непонимания и, стало быть, враждебности этих самых пролетариев.

Отсюда лексика о «новых методах борьбы», которые, якобы, провозгласила в своем докладе в декабре 1928 года Половцева, хотя Ксения Анатольевна лишь констатировала падение религиозности среди населения и упадок русской культуры в целом, а также, понимая, что деятельность и кружка, и каждого его участника обречена, призывала к элементарной осторожности и *готовности* расплачиваться за попытки дышать *свободным воздухом* и пользоваться врожденным правом мыслить.

Как была естественна органическая ненависть победившего «класса» к интеллектуальным кружкам Петрограда, так была естественна и связь сих очагов свободной мысли с квартирой Вульфийусов. Дело было не только в родственном генезисе этих несхожих, но принадлежащих европейской культуры личностей, не только в ошеломленности, переходящей в недоумение, а затем в омерзение в связи с явлением ожидаемого и победившего Хама.

Это была связь, основанная на схожих интересах, профессиональных связях, общности нравственно-религиозных принципов бытия и устремлений.

Александр Вульфius, как и большинство воскресенцев и бахтинцев – «из шинели» Гревса. (В известном «Обвинительном акте» имя Гревса встречается чуть ли не чаще других имен, а словосочетаниями «ученики Гревса», «студенты Гревса», «последователи Гревса» пестрят почти все его страницы.) Основоположник русской медиевистики во многом определил доминанту научных устремлений молодого ученого. Помимо Гревса, ошутимое влияние на формирование Вульфiusа – как ученого и личности возрожденческого толка – оказал Эрвин Давидович Гримм – историк широкого профиля, специалист в области античной культуры, последний ректор Петербургского Университета. Наконец, в ряду великих учителей Вульфiusа возвышается имя Георгия Васильевича Форстена, профессора Университета, выдающегося специалиста истории скандинавских стран и европейской культуры Средних веков и Возрождения. Именно Форстен был научным руководителем Вульфiusа при написании им магистерской диссертации, посвященной анализу суждений и взглядов на религию эпохи Возрождения (характерно название его труда: «*Очерки по истории идей веротерпимости и религиозной свободы 18 века*»). Через четыре года Вульфius защищает докторскую диссертацию – это уже 1915 год – «Вальденское движение (“вальденская ересь”) в развитии религиозного индивидуализма». Именно в этой работе он сформулировал свое виденье особенности европейского пути развития, в основе которого лежит *религиозный индивидуализм*. Данная аксиома мировоззрения Вульфiusа вместе с его другим фундаментальным постулатом о *веротерпимости и религиозной свободе как необходимом и неизбежном условии европейского прогресса* были тем магнитом, который притягивал в казенную квартиру Петришуле его интеллектуальных единомыслителей. Единомыслия не было, были споры, бывало и отторжение. Разные характеры, разная степень европейскости, индивидуальное понимание веротерпимости, православной убежденности и прочее... Возможно, одним из наиболее близких был А. Мейер, которого один из его кружковцев (Назаров) на допросе назвал «государственным католиком», имея в виду, вероятно, наибольшую среди других терпимость к западным ветвям христианства. Однако в любом случае там собирались люди одной, выверенной – петербургской «старорежимной» культуры.

И Мейер, и Бахтин, и Медведев, и Соллертинский – практически все кружковцы так или иначе, постоянно или по случаю, но бывали в этом доме, ибо авторитет Александра Вульфiusа в вопросах, так их волновавших, был непререкаем. Однако ближе всех была ему Мария Юдина. И не только в силу своего неповторимого таланта и типажа великого музыканта-проповедника, сколь редкого, столь и близкого мировосприятию Александра Вульфiusа. При всей своей принципиальной, можно сказать, агрессивной веротерпимости, все же определенное отчуждение евангелиста-лютеранина от своих православных коллег, даже тихоновцев, думаю, было подспудно ошутимо. Так же, как при всей глубочайшей и неистребимой православной религиозности Юдиной она босиком все же через много лет пошла к останкам Баха. Свершила, повторю, это она через много лет, когда не было на свете Александра Вульфiusа, но ощущение душевного сродства было и тогда – в 20-х, это сродство стирало любые возможные недомолвки (употребим такое слово) между обитателями казенной квартиры Петришуле и пианисткой.

Кого только ни видела квартира Вульфiusов. Видела классика мировой музыки, неистового новатора – «внесубъективиста», неоклассика, гордость Германии и изгнанника, а тогда – молодого и талантливую альтиста и дирижера Пауля Хиндемита. Видела не классика и не изгнанника, и уж совсем не внесубъективиста, но наркома просвещения А. В. Луначарского. Александр Германович предоставлял свою квартиру для собраний Епископального совета Лютеранской церкви России. Инспектировавший Петришуле нарком решил принять участие в диспуте «Был ли Христос?». Напрасно он это сделал, так как его оппонентом случился А. Г. Вульфius. И дело не только в разнице интеллектов – катастрофической разнице, хотя Луначарский считался – вполне обоснованно – светочем культуры среди большевистской вер-

хушки, наравне с Чичериным. Автор душераздирающих драм и постановлений скорее всего не знал, что готовя свои диссертации, Вульфийус работал в лучших архивах Европы, в том числе в библиотеке и архиве Ватикана, имел личную аудиенцию у Папы Римского и вообще был не только выдающимся культурологом, теологом, историком церкви, историософом, но и блистательным оратором – убедительным, вдумчивым, харизматичным (при внешней скромности и сдержанности). Диспут, конечно, Вульфийус убедительно выиграл, но не потому, что доказал существование Христа, – об этом речь фактически и не шла; Луначарский – человек не глупый, хоть и нарком, – понимал: об *этом* не спорят, – но неопровержимо обосновал тезис: даже при критическом отношении к церкви (любой) ее значение в культурной истории общества неизбежно, закономерно и плодотворно. Ученики и учителя Петришуле ликовали. Напрасно Луначарский ввязался в спор. Напрасно ликовали.

Кого только не было в квартире Вульфийусов... В середине апреля 1908 года – благословенное время! – там появился новый жилец, которого при крещении назвали Павлом-Иоанном-Александром.

А в сентябре 1961 года, на первом курсе, на первую лекцию по истории зарубежной музыки в класс № 43 на четвертом этаже вошел профессор (а точнее – доцент) с несколько аскетичной, дюреровской, не улыбочливой, как показалось, внешностью, с седым бордюрком оставшихся волос – Павел Александрович Вульфийус. Вообще-то первый курс, особенно первый семестр, – «вырванные годы». Выстрадавшее пьянящее студенчество с шальными выходками, непроницаемой сизой пеленой сигаретного дыма, новыми компаниями, продвинутыми девицами, уехавшими на гастроли родителями и пустующими квартирами, мнимой свободой нешкольного расписания, бесконечными интеллектуальными дискуссиями ни о чем, подкрепленными крепленным вином, с пивными в дневное время и неуклюжими опытами в ночное, похмельями и первыми вызовами в деканат, растерянными родителями и усмехающимися мудрыми профессорами, с золотой осенью, необузданными мечтаниями, легкими разочарованиями и неизбежной первой сессией – это студенчество первого семестра любого вуза, особенно гуманитарного, знало общее слово-пароль: «мотаем». Мотать лекции было естественно, логично, легко и авантажно. Мы и мотали. Сейчас не только стыдно об этом вспомнить, но и жутко. Ибо это время не вернешь. Не вернешь возможность общения с теми уникальными личностями – последними из могикан великой русской интеллектуальной культуры, которые обитали на четвертом этаже Ленинградской консерватории. Но это мы стали понимать чуть позже, а пока – мотали. Однако мотать лекции Вульфийуса было как-то затруднительно. Не из-за возмездия. Возмездие в деканате было в разы весомее за пропуск лекций по истории ихней партии или физкультуры, – но там мы мотали с азартом и беззаботностью. С лекций Вульфийуса уходить было трудно. Потому что было интересно. Интересно не по форме изложения материала – к блестящим лекторам мы довольно скоро привыкли, они приелись, и к ним стали испытывать инстинктивное недоверие (некий Поздняков – провокатор и демагог – читал на первом курсе лекции по истории КПСС виртуозно). У Вульфийуса завораживала энергия мысли, убедительная логика его воззрений, как правило, оригинальных и рискованно смелых, ошеломляющая негромкая эрудиция и честность профессионала и человека. И ещё – ранее, да и позже – не встречали мы людей, от которых бы *веяло старой европейской культурой*. Культурой, которую он пытался нам привить. Тогда мы этого не осознавали, но интуитивно чувствовали: этот человек – не из нашего суконного века. И этим он привораживал. Именно Вульфийус первым показал нам, что мотать с лекций и семинаров четвертого этажа – этажа М. С. Друскина и Л. А. Баренбойма, А. Г. Шнитке и Г. Т. Филенко, Ю. Н. Тюлина и А. Л. Островского – не только преступно, но и глупо.

Мы тогда о Вульфийусе ничего не знали.

Понимали ли петроградские кружки 20-х годов: в квартире учебного корпуса Петришуле, в Университете, участники «академического дела» или «немецкого дела», или дела «церков-

ных групп» и других важных дел, – что их деятельность – сугубо приватная, культурно-просветительская, философско-религиозная – властью рассматривается как политическая борьба с нею – с новой властью, как сознательное враждебное противодействие ее усилиям по созданию человека нового типа, что значительно опаснее, нежели открытая политическая оппозиция или мятеж, типа Кронштадтского? Понимали! Но ничего изменить не могли. Не могли не мыслить и не говорить, как не могли не дышать. Не могли согласиться с тем, что отныне не они, а властные декреты будут решать, что есть добро, а что зло, что является ценностью в духовном мире, а что есть шлак.

Луначарский был человек не злой и не мстительный. Но уже не он решал, кто выиграет диспут.

1929–1930-й – годы великого перелома. Неоперабельного перелома. Невосполнимого. Как невосполним, скажем, угробленный Летний сад или взорванные церкви по всей Руси. Ломать не строить. Начали с первого ленинградского дела (далеко не последнего: колыбель революций была занозой в дремучем сознании кремлевских вождей) – «академического дела» – «Дела академиков С. Ф. Платонова и Е. В. Тарле». (С. Ф. Платонов получил 5 лет ссылки в город Куйбышев, где и умер в 1933 году; Е. В. Тарле был сослан в Алма-Ату, в 1937 году реабилитирован, во время войны и позже получил три Сталинские премии, был награжден тремя орденами Ленина и пр.) Помимо других выдающихся гуманитариев (историки акад. С. Б. Веселовский – выжил; проф. Б. А. Романов – сослан на строительство Беломорско-Балтийского канала, освобожден в 1933-м; проф. А. И. Андреев – 5 лет в Красноярском крае; богослов, философ, историк церкви, член-корр. АН А. И. Бриллиантов – умер во время этапа или уже в ссылке в 1933 г. etc.), по этому делу пошли член-корр. С. В. Бахрушин; член-корр. (история государства и права) С. В. Рождественский (в ссылке умер); академик, историк Ю. В. Готье; член-корр., византист, палеолог В. Н. Бенешевич (расстрелян в 1938 г., оба сына расстреляны в 1937 г.). Востоковед, этнограф А.М. (Густав Герман Христиан) Мерварт (умер в ссылке в 1932 г.) – именно этого хранителя Музея антропологии и этнографии АН СССР было решено назначить главой немецкой шпионской организации. По делу «о немецкой шпионской деятельности», а также согласно «Декрету о религиозных объединениях» 8 апреля 1929 года был арестован А. Г. Вульфийус. Припомнили все – и религиозное воспитание молодежи, и национальность, и диспуты. Срок – 3 года в Западной Сибири. После 33-го года «академисты» и «шпионы» начали возвращаться с запретом работы по специальности. В 1937 году старший Вульфийус был арестован вторично по обвинению в контрреволюционной деятельности. Были арестованы и трое его сыновей. Александр Германович умер в Воркуте в июне 1941 года, его средний сын – Алексей – в Магадане в 1942 году.

М. М. Бахтин был арестован в декабре 1928 года по делу А. Мейера и «Воскресений», в связи с болезнью – множественный остеомиелит (в результате заболевания в 1945 году ему ампутировали ногу) – помещен под домашний арест, затем осужден на пять лет в Соловецком лагере, приговор заменили на ссылку в Кустанай, по освобождении устроился на работу в Саранский университет. В Москву вернулся в 1969 году.

«Формалист» профессор Павел Медведев был арестован в марте 1938 года, расстрелян в июне того же года. Место захоронения неизвестно.

Последний ректор Петербургского университета, доктор исторических наук профессор Эрвин Гримм был арестован в середине 1938 года; в результате длительных следственных действий сошел с ума, после чего был выпущен. Скончался в 1940-м.

Александр Мейер арестован в декабре 1928 года, в 1929 году приговорен к расстрелу, замененному максимальным – 10-летним – сроком на Соловках, потом проходил по «академическому делу» (этапирован в Ленинград), освобожден «по зачетам» в 36-м с запрещением жить в крупных городах. Умер в 1939 году от туберкулеза, похоронен на Волковском лютеранском кладбище в Ленинграде.

М. В. Юдину Бог миловал, ее не замели. Только уволили в 1930 году из Ленинградской Консерватории. Это было первое увольнение. Позже увольнения из высших учебных заведений стали перманентным состоянием ее бытия.

Павел Александрович Вульфius первый раз был арестован в 1938 году, чуть позже своего отца и вместе с братьями. К этому времени он закончил аспирантуру в Государственной академии искусствоведения (научный руководитель – Р. И. Грубер), в июне 1937 года защитил кандидатскую диссертацию «Франц Шуберт и его песни» в Консерватории – это была первая диссертация, защищенная в *Ленинградской* консерватории. С этой консерваторией связана вся дальнейшая свободная жизнь Вульфи уса. Первый трехлетний срок по 58-й статье «за шпионаж» отбывал в селе Мошево Пермской области. Его жена Ольга Георгиевна добровольно следовала за мужем во всех его странствиях по кругам советского ада. Трехлетний срок обернулся восьмилетним – срок продлили по «чрезвычайным обстоятельствам». В 1946-м он был *условно* освобожден, место проживания было назначено в Соликамске. В 1950-м был неожиданно вторично осужден – *бессрочно* – по тому же старому обвинению и сослан в Красноярский край на лесоповал. В конце марта 1953 года Вульфius был амнистирован, но только в конце 55-го получил документы о прекращении дела «за отсутствием состава преступления». В 1956-м вернулся в Ленинград, в Консерваторию.

Интеллектуальные, философско-религиозные кружки, университетские сообщества, квартирные посиделки в Петришуле 30-х – явления исключительно петербургской – ленинградской – культуры первой трети XX века, неотъемлемая часть духовного бытия города, его, если хотите, «торговая марка». Разгром этих келейных и, казалось бы, малоприметных группировок был важнейшим и катастрофическим событием в жизни города на Неве, ибо была отсечена существеннейшая составляющая часть его европейской сущности. И дело не только и не столько в том, что были пресечены попытки осмысления тех или иных сторон духовно-религиозной жизни, истории, европейской философии или культуры. Был положен конец самому процессу свободного мышления, осмысления. Ленинградские процессы 30-х стали важной вехой в становлении репрессивной идеологически-тоталитарной политики советской власти, которая становилась – и стала – единственным законодателем способа и направленности мышления нового советского человека, исключаяющего его религиозную, философскую, нравственную составляющую.

Это была гуманитарная катастрофа. Для города, во всяком случае.

Вряд ли кто-то предполагал, имел предчувствия, что эта катастрофа – одичание не только аукнется, но даст сочные плоды в XXI веке – уже в масштабах всей страны.

...Как-то очень талантливый, милый и остроумный мой сокурсник – струнник, мало разбиравшийся в предмете, читаемом Вульфiusом, на каком-то предэкзаменационном семинаре или консультации обреченно произнес: «Есть такое предчувствие, что экзамен я у вас не сдам». В глазах Павла Александровича мелькнула характерная хитровато-смешливая искорка, потом он потух, погрузился, будто вспомнил что-то, и отрешенно сказал: «Увы, предчувствия часто сбываются...»

Позаботилась ли ты о своих грудях?!

*Иду, вдыхая глубоко
Болот Петровых испаренья,
И мне от голода легко
И весело от вдохновенья.*

[Иду, как ходит ветерок

*По облетающему саду.]
Прекрасно – утопать и петь.*

Память сохранила слова Вульфиуса. Действительно, предчувствия, особенно тяжелые, сбываются.

Память – штука фантастичная и непредсказуемая. Как и предчувствия. Виделась Ивану Логгиновичу во время его ночных прогулок по Фурштатской кровль на стенах дачи. Сбылось. В конце декабря 1917 года старика Горемыкина зверски убили на его даче в Сочи, куда он был выслан в административном порядке Временным правительством после освобождения по возрасту из Петропавловской крепости. Убит вместе с женой, дочерью и зятем.

Виделось Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину, сидевшему в Арсенальной гауптвахте, которая размещалась в бывшем Пушечном дворе при дворе Литейном (когда-то ведомство Якова Вилимовича Брюса, вокруг которого формировалась лютеранская община Санкт-Питер-Бурха, помните?), второй дом от Невы по нечетной стороне Литейной перспективы, – виделось, что *российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления*, – и как в воду глядел. Чем дальше, тем изумление ошеломительнее. Не осрамили потомки. Правда, к изумлению настолько привыкли, что уже не изумляются. Помимо всего прочего и свой Большой дом эти потомки героев Щедрина возвели прямо напротив бывшей Арсенальной гауптвахты. В Арсеналке будущий рязанский вице-губернатор сидел по личному указанию Николая Первого после публикации «Запутанного дела». Высочайший пушкинский цензор имел зоркий глаз. Как не различить крамолу, скажем, в таком рассуждении героя щедрина романа: *«Россия – государство обширное, обильное и богатое; да человек-то глуп, мрет с голоду в обильном государстве»*. Помещение гауптвахты находилось в полуподвале, стены глухие, окон нет. От абсолютной тишины через сутки у сидельцев начинало звенеть в ушах, а некоторые и в обморок падали. Щедрин просидел там две недели, пока следователи изучали дело – роман читали. Читали, похихикивали, переглядывались и недоумевали: как можно так думать, и что делать. Простить нельзя, наказывать – ещё хуже: крамолы в их ведомстве быть не могло. Пока же автор тихие свои дни коротал, возможно, в той же камере, где отбывал наказание его тезка г-н Лермонтов после дуэли с сыном французского посла де Бранта. Сидел Михаил Евграфович, сидел и мыслишки в голову приходили. Разные. Бессмертные. Провидческие. Например: *«Многие склонны путать понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство»*». Хорошо и актуально по возрастающей во времени. Или: *«Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоят»*. Или виделось: *«Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду»*. Это сбилось. Как будто вчера писал. Как и бессмертное: *«Громадная сила – упорство тупоумия»*. Оглянись окрест – *«душа страданиями человеческими узвлена будет»* (это – ещё Радищев подметил).

Откуда берется дар предвиденья? Ещё до злополучной дуэли с сыном де Бранта, в 16 (шестнадцать!) лет Лермонтов увидел:

*«Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
.....
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь – и поймёшь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! – твой плач, твой стон*

*Ему тогда покажется смешон;
И будет всё ужасно, мрачно в нём,
Как плащ его с возвышенным челом.*

Таких случайностей – совпадений не бывает.

Враг не дремлет, будь бдителен!

Мне же, когда я стоял около афиш Дома офицеров, часто казалось, что я тоже буду артистом и стоять мне на сцене, хотя меня, судя по всему, готовили в аспиранты. Аспирантом я не стал. И артистом не стал, но на сцене простоял много лет. Вот и ныне – стою, но уже на другой сцене. Да и не сцена это.

...Дом офицеров кто-то из взрослых называл «лучом надежды». Почему «луч», я понимал. Это было самое яркое здание во всем нашем районе в те темные и серые времена. Особенно в ноябрьские праздники, 1-го Мая и в день рождения товарища Сталина. И в День Победы.

В то время – до 65-го года – День победы не отмечали, это был рабочий день. Только салют вечером «в столице нашей Родины городе Москве» и городах-героях: Ленинграде, Волгограде, Одессе, Севастополе, – и сияющие молодые офицеры в парадных мундирах с блестящими, надраенными мелом пуговицами и бляхами широких офицерских ремней, отутюженных галифе, в зеркальных яловых сапогах. Потом – в начале 70-х – появились аксельбанты, и груди офицеров выгибались с ещё бóльшим восторгом, а глаза с бóльшим вниманием скользили по лицам окружающих дам и девушек: каковы мы! Война ещё жила в подлинном, не вымышленном сознании людей. Молодежь ещё гордилась своими отцами, отцы все помнили, все лучше понимали. Парады проводились в юбилейные даты: 1965, 1975, 1985. Тяжелая техника не громыкала по брусчатке Красной площади. Тогда даже руководители понимали, что нелепо бряцать оружием в день окончания великой и страшной войны, убого кому-то угрожать: комплексом неполноценности тогда не страдали. И кому угрожать: союзникам или побежденным? Для угроз есть другие дни... Люди ехали на кладбища, поминали. Однополчане собирались. Их становилось все меньше. Все чаще появлялись фотографии одиноко сидящего мужчины с плакатом «125 Мотострелковая Дивизия» или какая-то другая. Больше никто уже не пришел... Истерических завываний тоже не наблюдалось. Агитпроп в те времена профессионализм не потерял. Это был хороший праздник. Поначалу запрещенная песня Давида Тухманова, а впоследствии затасканная, замусоленная и обесцененная, как все, связанное с Победой, отразила суть этого дня – «со слезами на глазах». Для тех, кто воевал, продемонстрировать мускулы своего торса в такой день было немислимо. Поэтому парады не устраивали; те, кто прошел войну и выжил, отмечали тихо, молча, часто пьяно, всегда скупно на слова. Как воевали. Но молодые офицеры были ослепительны, и Дом Офицеров вечером пылал ликующими огнями радостных лампочек.

Столько сверкающих лампочек, собранных в одном месте, не было нигде. Даже на Артиллерийском Училище – бывшей Арсеналке, которое напротив Большого дома. На фасаде Училища располагались в определенном, только в Кремле известном порядке наши славные руководители. Сначала великий товарищ Сталин. Позднее дорогой товарищ Хрущев. Затем мудрый товарищ Брежнев. Их портреты были покрупнее других. Все другие товарищи располагались иногда в алфавитном порядке, но чаще в загадочном. Взрослые по этим загадкам и по тому, кто где стоял на Мавзолее, угадывали: кто что решает и решает ли. Где бы ни висел портрет дорогого товарища Шверника, например, или, скажем, курносого товарища Подгорного, всем было как-то перпендикулярно. А вот где висит Молотов или Косыгин – волновало. Мне это все было по барабану, но западало. Когда позже стал читать Хармса, а ещё позже – Оруэлла, вспомнил.

Папа иногда говорил, что главные решатели на трибунах не стоят. Я не понимал. Но, как и он, привык с детства переходить около улицы Чайковского на нечетную сторону Литейного, когда шел к Неве, и на Большой дом старался не смотреть. Однако огоньки, обрамлявшие портреты дорогих товарищей руководителей на Арсеналке, были какие-то тусклые, иногда даже подмигивали или перегорали, за что слушатели Училища садились в ту самую, уже нам известную гауптвахту с глухими стенами и мертвой тишиной. Здание же напротив всегда было темно. Даже окна почти не светились, хотя там служба шла круглосуточно. Его обитателям было не до праздников и ярких лампочек. Там всегда были будни и полумрак казенных настольных ламп. В одном кабинете перед пятном, очерченным настольной лампой с зеленым стеклянным плафоном, каждый вечер садился сам товарищ коллежский ассессор Липпанченко. Он делал один большой глоток остывающего бледного чая из казенного граненого стакана, аккуратно стоявшего на белом блюдечке с голубой каемочкой, и начинал свою трудовую ночь. Подстаканники он не уважал из-за их мещанского происхождения.

Вокруг же Дома офицеров вечером сияло, как днем. Радостный свет излучали застекленные и подсвечиваемые афиши концертов, объявлений, предупреждений, главный вход был обрамлен лампочками Ильича, сквозь открытую парадную дверь виднелась ярко освещенная широкая лестница, и сердце радовалось. Идешь мимо и думаешь, как хорошо служить в Советской армии. Так что по поводу «луча» я разобрался довольно рано. По поводу «надежды» – позже, но предчувствие догадки возникло тогда, когда я проходил мимо освещенного уголка нашей Литейной стороны.

Раз в неделю, а после марта 1967 года дважды, около Дома офицеров было особенно многолюдно. Папа, когда мы шли мимо, что-то бормотал недовольное, брезгливое – я не понимал. Он почему-то старался ускорить шаг, продираясь сквозь тела, фигуры и незнакомые запахи.

Участникам фестиваля – привет!

Дом офицеров или, точнее, Дом общего Офицерского собрания армии и флота, выстроенный в конце 90-х годов XIX века, был зданием шикарным, грациозным, легким и внушительным. Как вид офицера той навсегда ушедшей «петербургской» эпохи – эпохи лейб-гвардейцев Преображенского или Павловского полков, гусар, гардемаринов, кавалергардов.

Расходы по строительству Дома Собрания армии Российской империи изумляли своей внушительностью. 1 миллион 400 тысяч рублей – сумма громадная для той поры. Однако для армии в России всех времен денег не жалели. Не всегда с толком, но всегда с размахом. Да и в данном случае цели были благородные, сам Император Николай Второй утверждал: *«...офицерские собрания имеют целью: 1. Содействовать сближению г-д офицеров, 2. Развивать товарищеские отношения, 3. Содействовать военному образованию офицеров, 4. Устранять развлечения для г-д офицеров и удешевлять оные (развлечения) в столице».*

По поводу сближения товарищей офицеров и развития товарищеских отношений судить не берусь. В офицерах не состоял. По поводу же образования могу подтвердить. Будучи солдатом Советской армии, а точнее, ее младшим сержантом, ходил в Дом офицеров в Университет марксизма-ленинизма. Сказать, что это соответствовало пункту № 3, то есть «содействовало моему военному образованию», не могу, но пункту № 4 – «развлечению», – бесспорно. Дело было в том, что в тридцати шагах от этого Дома общего офицерского собрания располагался дом Мурузи – Литейный 24. А там были мама и папа, мамины вкусные котлеты, салат оливье, холодная бутылка Боржом в холодильнике и две кровати, на которых я мог растянуться и забыть о тяготах службы... Поэтому я не очень баловал своим присутствием Университет марксизма-ленинизма, но увольнительные три раза в неделю мне выдавали неукоснительно: солдат повышает хрен знает что и политическую грамотность...

На редких семинарах, которые я посещал – нельзя было наглеть и рубить сук, – я пользовался вниманием и испуганным уважением. 1. Младший сержант, но в диагоналевой офицерской гимнастерке (таковую мне выдавал старшина, выказывая, тем самым, свое глубокое уважение к марксизму-ленинизму и ихнему Университету). 2. Про вещь в себе и прочие категорические императивы младший сержант в темно-зеленой диагоналевой гимнастерке говорил уверенно и непонятно (высшее образование, с обязательным диаматом и истматом, что-то оставило в сумбуре моей головы), офицерский состав курсов балдел и ничего не понимал. 3. Появлялся я редко, но неожиданно. Преподаватель – полковник с внезапно умным и красивым лицом (серые глаза, черные брови, ямочка на подбородке – ему бы Федю Протасова играть!) смотрел с подозрением: не от коллежского асессора Липпанченко ли я. Своей загадочностью я пользовался сполна. То есть устраивал развлечение для самого себя и удешевлял их в северной столице.

Анекдот:

– Чего добились евреи за 50 лет Советской власти?

– Выходного в субботу.

Это случилось 7 марта 1967 года. Совет Министров СССР и ВЦСПС приняли постановление «О переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями». Жить стало совсем даже замечательно. И толкучка у Дома Офицеров стала образовываться два раза в неделю вместо одного. Вот тогда я и понял слова о том, что дом Офицерского собрания есть «луч надежды».

Молодые женщины, собиравшиеся нынче дважды в неделю около Окружного Дома офицеров, мне, как правило, не нравились. Хотя иногда попадались удивительно хорошенькие и застенчивые. Я уже засматривался и даже влюблялся, причем в тех, кто был значительно старше меня. Скажем, в практиканток, которые оттачивали на нас свое педагогическое мастерство, на глазах зверея или впадая в глубокую депрессию, осознавая глубину своей ошибки в выборе профессии. Или в Танечку – Татьяну Николаевну. Ее помню по сей день. Она была практиканткой по физкультуре, а затем и многолетним преподавателем, влюбляя в себя поколение за поколением школьников и коллег. Очаровательна была и неприступна. Вполне понимаю Игоря Архангельского, автора чудной книги о нашей Анненшуле, который был значительно старше меня, но не рискнул даже предложить Татьяне Николаевне идею о продолжении знакомства, хотя имел к этому основания... Удивительным синтезом обаяния, даже легкого кокетства и непроницаемой броней недостижимости обладала эта божественная Танечка.

...Впервые же я влюбился в самом раннем возрасте. Моя первая любовь была, думаю, лет на сорок-пятьдесят старше меня. Я – шестилетний – лежал в Мечниковской больнице со скарлатиной, а она – нянечка – входила утром с ночным горшком и мужским голосом говорила: «Мальчики, кто хочет *сикать*?». Раньше я такого слова не слышал, у нас был культурный дом: «по-маленькому», «по-большому...»...

Так что в женщинах я уже разбирался. Эти – у Дома офицеров – на меня впечатления не производили, хотя были накрашены и надушены.

Сначала я понял, что женщины хотят потанцевать. Это – естественно: офицеры, музыка, танцы: «Давай пожмем друг другу руки...», «Вдыхая розы аромат, я о любви не говорю...», «Рио Рита» – без слов, с аккордеоном, «Брызги шампанского»... Иногда ещё звучали «Темная ночь» или «Синий платочек». Но всё реже и реже. Эти звуки были пленительны. Звуки моего детства, звуки, доносившиеся из открытых окон: к началу мая все мыли окна, до блеска натирали стекла старыми газетами, и многие ставили на подоконники патефоны, долго крутили ручки этих волшебных ящичков, и... «Был день осенний, и листья грустно опадали... / О, эти черные глаза». Из-за заборов Домов отдыха, которые окружали нашу дачу в Репино, где мы снимали комнатку: «Цветущий май» Полонского, «Утомленное солнце нежно с морем прощалось...»...

Следующим этапом познания жизни было доскональное изучение собрания сочинений Ги де Мопассана, которое с превеликим трудом достала моя мама, выстояв несколько ночей в записях и переключках – у меня должна была быть библиотека классической литературы. Мама собрала такую библиотеку, и я много жадно читал. Иван Тургенев и Лев Толстой изучились бы, узнав, что некий советский мальчик лет двенадцати за обедом, в школе под партой, тайком ночами в туалете, в автобусе и трамвае не может оторваться от их творений. К творчеству Бориса Николаевича Бугаева я подступил после окончания периода скоротечного полового созревания. Пока же, изучив литературное наследие Мопассана, понял, чего хотят накрашенные и надушенные дамы от товарищей господ офицеров.

Значительно позже, когда поток дам, желающих попасть на вечера танцев, иссякал – товарищи офицеры теряли свою притягательную силу – где-то к концу 70-х годов, мы шли с папой по Литейному, и я вдруг спросил его, почему его так раздражали эти женщины на углу Кировной. В конце концов, это – жизнь, и падшие, склонные к минутному падению дамы – часть ее. Он ответил неожиданно: «Не они раздражали. Раздражался на себя. Я их жалел, а жалость оскорбительна. Они – не падшие, они – несчастные».

Действительно, кто-то из соискательниц офицерского предложения пройти с ним вовнутрь помещения хотел просто потанцевать (одних женщин без кавалера туда не пускали), кто-то искал то, о чем я догадался, изучив труды Ги де Мопассана, но подавляющее большинство этих девушек стремилось выйти замуж за офицера. Это была мечта – стать женой офицера. Не важно, какого. Так как выбирали не они, а молоденькие лейтенантики, которые, не торопясь, обходили стайки потенциальных невест, то это была рулетка, лотерея. Однако в любом случае, нищета этим женщинам не грозила. Родители с радостью сообщали, что их дочь вышла замуж на офицера. После войны это было почетно. Главное же – их дочери вырывались из нищеты. Из беспросветной советской нищеты. Действительно, свежее испеченный лейтенант сразу же получал оклад за звание 500 рублей, плюс зарплату за должность – ком. взвода получал 1300 рублей, плюс кормовые 200 рублей. Итого – 2000 рублей в месяц. А надбавки за каждую новую звездочку по 100 рублей, за следующую должность – по 150–200 рублей, а за выслугу лет по 10 % после двух лет службы и по 5 % за каждые последующие пять лет. Если «повезет» – в кавычках и без оных – если повезет и отправят в отдаленную местность, то надбавка – 15 процентов, а на Крайний Север, Камчатку, Сахалин, в пустыню или – о, мечта идиётки! – за границу, а тогда за безразмерными рубежами огромной родины постоянно дислоцированных войск и ограниченного контингента было также безразмерно много (см.: «Лягушки» Аристофана), – если повезет, то все выплаты увеличивались на 50 или даже 100 %. За прыжок с парашютом платили, а тогда прыгали все офицеры, кроме увечных, снабженцев и делопроизводителей, за водолазные спуски платили и пр., пр. С 1961 года по одному нулю убрали, но все равно, с окладами гражданской братии несравнимо: ровесник безусому лейтенанту с самым высшим образованием зарабатывал дай Бог 80–100 рублей. Чтобы получать 200, надо было много лет писать и защитить диссертацию. Работяга же – наиболее вероятный кандидат в мужья для неудачницы в дефиле у Дома офицеров – получал в разное время от 40 до 80 рублей в месяц. В 1950-м году *средняя* зарплата составляла 601 рубль, в 1961 – 75 рублей. И без перспектив. Было ради чего мерзнуть в капроновых чулочках и лодочках на шпильках около «луча надежды». Конечно, жизнь в гарнизоне где-то под Хабаровском или на Кушке – тоска смертная. Да и под Калугой или в Архангельской области – не Ницца. Повальное пьянство, клубок сплетен и доносов, одни и те же фильмы, замордованные солдаты и дичающие мужья-лейтенанты, уже старшие, наглый и всеильный особист, которому не откажешь, длинная ночь и с семи утра дробь малого барабана на строевых... Зато бесплатный проезд в отпуск, и обязательно в купейном вагоне, а начиная с майора, только в мягком. И отпуск продлевается на время следования в пути. А диагональ! Можно и платье пошить, и на юбочку хватит, и дочке на приданое отложить...

Вообще, армия тогда была для многих спасением. Не только для женщин. Особенно для крестьянского парня. Три года отмучился и получил паспорт – свободный человек, не раб. И мученье – для городского парня. Особливо для интеллигента-очкарика. А для крестьянского парня – рай: и постель чистая, и накормлен досыта, и отпуск десять дней посреди службы, и одет с иголки, и сапоги яловые не текут, и строевая – отдохновение для организма – это тебе не за трудовни корячиться. И опять-таки, паспорт – недостижимая мечта советского колхозника. Спасение. И для женщин тоже, хотя паспорта у них были.

Удивительная вещь – память... Я помню этих женщин около «луча надежды», хотя никогда их не видел. Не смотрел на них, старался не замечать. Так делал папа, так пытался делать я (хотя хорошеньких и застенчивых примечал!). Большинство же чем-то отталкивало, насто-раживало, но не волновало. Возможно, из-за густого настоя запахов дешевой пудры, яркой губной помады, духов «Красная Москва» (ухудшенный вариант композиции, названной в 1913 году «Любимый букет Императрицы»), «Пиковая дама», «Быть может», «Шипр», «Ландыш серебристый», одеколон «Тройной»... Но, скорее всего, из-за той нервной взвинченности, которой была наэлектризована эта стайка молодых советских женщин около Дома советских офицеров. Я вдруг вспомнил, что они были в очень схожих темных пальто с приподнятыми плечиками, в маленьких кокетливых шляпках, в капроновых чулочках и на высоких каблук-ках-шпильках. У них были красные носики, хотя и обильно напудренные – около Дома офицеров почему-то всегда было холодно. Правда, летом я их не видел: меня увозили на дачу, а позже я сам уезжал. Потом вообще все кончилось. И ещё я вспомнил, что они, наверное, тоже плакали на фильмах «Бродяга», «Королева Шантеклера», «Мост Ватерлоо» или «Возраст любви». Все мечтают о любви и верят в счастье, которое вот-вот улыбнется. Хотя бы на экране.

«Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний...». Папа был прав: жалеть нельзя, это унижительно для всех, особенно для того, кто жалеет.

Раскрепощенная женщина – строй социализм!

– Ваше высочордие, Александр Павлович, не извольте гневаться, но Аполлон Аполлоныч с фельдьегерем депешу срочную прислал. По прибытии в Город представиться надлежит офицеру по особым поручениям-с.

– Какого черта?

– Черта упоминать не рекомендовано. Накликать можно-с. Офицер, ознакомившись с сопроводительными письмами, дактилоскопическими данными и учинив визуальный осмотр, определит, какое помещение для содержания предоставить вашему благородию.

– Мне не нужно содержание, мне нужно видеть Аполлон Аполлоновича.

– А это невозможно-с. Совершенно невозможно-с. Аполлон Аполлоныч сам вас найдет и через доверенных слуг своих контакт наладит. Видеть его никакой возможности представиться быть не может. Так что девять дней придется провести в ожидании благополучного решения.

– Пошел вон, идиот косноязычный!

– Не извольте беспокоиться, удаляюсь. За чаёк-с заплочено.

... Жалеть унижительно. Это – точно!

... Потом времена стали меняться. Обрушился Московский Международный фестиваль молодежи и студентов. Обмишурились мужи на Старой площади и в Кремле. И на старуху бывает... Хотя Михаилу Андреевичу не к лицу. Серый кардинал отличался безошибочным чутьем. Да и на Липпанченко не похоже. Хотя товарищ коллежский ассессор тогда молод был. Это – год 1957. Фестиваль самой прогрессивной в мире молодежи перевернул внутренний мир не только столичной комсомолии, но и активистов из самых отдаленных уголков Советской Родины. Встреча юных строителей коммунизма с демократической молодежью освободившихся от колониализма стран отозвалась не только появлением броек на девушках.

*Прыгай вверх, прыгай вниз,
Крепче за меня держись.
У нее штаны, и у меня штаны,
И не поймешь, где женщины, где мы!*

– пели мы – тогда старшеклассники – отплясывая завезенный рок-н-ролл. Результатом общения молодых борцов за мир стало появление новых профессий: предпринимателей, компетентными эрудитами-органистами маркированных как «фарцовщики» (от англ. for sale – «есть ли что на продажу?» – вопрос-пароль), и «*прелестных дам-камелий*», прятавшихся не только от дневного света. Некоторые древние профессии получили новое рождение – гинекологи, венерологи, подпольные акушеры... Педагоги, детские психологи, социологи, идеологические работники нижнего уровня и воспитатели яслей и садиков в срочном порядке вырабатывали методику ответов на вопросы детей и взрослых: откуда в различных точках необъятной Родины появилось такое обилие очаровательных малышей шоколадного, кофейного цвета и цвета красного дерева. Однако не только появление новых профессий, танцев, проблем, видов одежды и обуви, а также новой популяции советского человека было обязано Фестивалю Демократической молодежи и студентов. Появились новые, ранее невиданные прически: у женщин – «Венчик мира» и «Вася, иди за мной» («конский хвост» на сленге милиции и бригадмилцев), у юношей – кок, сменивший «бокс», «полубокс» и так недавно модную «под Тарзана». Затем ворвалась Бабетта, которая шла на войну.

Короче, мир изменился до неузнаваемости. На лучших площадках города-героя (Д/К Промкооперации, в Первой пятилетке или в «Мраморном зале») играл джаз Иосифа Вайнштейна со своим звездным составом: Давид Голощекин, Геннадий Гольштейн, Игорь Петренко, Константин Носов и другие. На Вайнштейна уже ходили не только танцевать или знакомиться, но слушать, кайфовать, тащиться, свинговать. Орест Кандат – блистательный саксофонист и его ансамбль, Трио Симона Кагана – уникального джазового и эстрадного пианиста-виртуоза (выпускника Консерватории, ученика главы ленинградской фортепианной школы легендарного профессора Самария Савшинского), Джаз Понаровского – эти и другие джазовые коллективы родились или расцвели под влиянием атмосферы фестиваля, и они во многом определяли состояние «ленинградского духа».

Девушки и молодые женщины зачастили в «Лягушатник». В этой мороженице на Невском 24 на столах стояли сифоны с лимонадом или простой газировкой – вещь доселе невиданная, мороженое подавали в металлических креманках, сидели на плюшевых диванах весенне-болотного цвета – результат знакомства дизайнеров с картиной Ренуара, главное – можно было взять шампанского, поэтому этот центр европейской культуры называли «Бабий бар». При всем при этом очередь в «Лягушатник», змеившаяся на пол-квартала, состояла из лиц обоего пола. Пребывание в «Лягушке» и неспешное смакование разнообразного (черносморозинного, клубничного, орехового, шоколадного, сливочного пломбира, ванильного, с марципаном etc.) и очень вкусного – натурального – мороженого под холодное Советское Шампанское или с «кофе-гляссе» – ещё одно заморское чудо – все это выдавало в посетителе не столько гурмана, сколько *штатника*, то есть «нового человека», человека, познавшего значение и притягательную силу западного поведения и мышления.

(Когда-то здесь размещалось знаменитое кафе «Доминик», –

*А белый ужин у «Донна?»
А «Доминикский» пирожок?*

– в котором подавали чудный кофе, глинтвейн, шоколад, тающие во рту пирожки с рыжиками, капустой, сыром и кедровыми орехами или с гусиной печенью и прозрачным пергаментным тестом; официантами работали только татары; заядлыми «доминиканцами»-завсегдатаями были Менделеев, Достоевский, Чигорин, Глазунов, Надсон. Когда это было!!!) А ныне по Броду – Бродвею, то есть по Невскому от Литейного до Восстания по четной стороне, – хилили чуваки в штатских траузерах с чувихами в клевых джакетах, бухали немного дринка, базлали... (перевод: гуляли проверенные молодые люди, уважающие высокую американскую культуру, в импортных брюках, с девушками в классных пиджачках, немного выпивали спиртного, говорили, спорили...). Американская выставка и показ мод Кристиана Диора в Москве, «Золотая симфония», а затем «Вестсайдская история», пепси-кола и Хемингуэй, Бенни Гудмен в Москве и Ленинграде и Гленн Миллер в «Солнечной долине» – это и многое другое ошеломило молодых людей, и не только молодых. Страна начала отходить от холода, оттаивать. Сначала в столицах, затем и на окраинах. Менялись стиль поведения, язык, привычки, нравы.

У Дома офицеров все оставалось неизменным. Представить себе девушку, ожидавшую снисходительной улыбки лейтенанта: «Ну, что, пошли?!» – в джинсах, кедах, мужской рубашке, с прической «под Бабетту» или «Венчик мира» – было немислимо. Все те же прически в стиле Греты Гарбо или шестимесячные завивки, с сеточкой, те же каблучки, шляпки, плащи – уже болонья, та же пудра, те же покрасневшие на холоде носики, та же искательная, безнадежная улыбка, застывшая на ярко накрашенных губах.

Постепенно толпы по выходным у «луча надежды» стали редеть. Если ранее быть женой офицера было и престижно, и сытно, то теперь приоритеты стали на глазах меняться. Никита Сергеевич сыграл свою роль не только в сокращении численности защитников Родины, но и их материального обеспечения. Стало быть, рушилось и брачное реноме. Жена заведующего мясным отделом или администратора модного театра, телевизионного мастера или директора плавательного бассейна, женского портного или штурмана дальнего плавания – это зазвучало гордо. Если же военнотружущий, то уж не из Дома офицеров, а из Академий или, лучше всего, из чего-то ближе к космонавтике. Юрий Гагарин не зря слетал. Да и наука вошла в моду. Девушка в очках с простыми стеклами, проводившая часы в курилке публичной библиотеки, – не пустая выдумка режиссера Владимира Меньшова и феерической Ирины Муравьевой. Так что рой на углу Литейного и Кировной редел, но не иссякал. Ещё в середине 70-х я встречал у Дома офицеров этих милых молодых девушек и уже немолодых женщин, наивно ждавших, что судьба и им улыбнется. Они были не виноваты в том, что прав Салтыков-Щедрин: Россия государство обширное, обильное и богатое; да человек-то глуп...

...«В парке Чаир распускаются розы»...

...Как будто вчера это было и – в другой жизни. Вчера я сидел и рассматривал папины ордена. Папа ордена никогда не носил. Они лежали в коробочках с сафьяновой подкладкой. У папы на пиджаке, в котором он ходил на работу, были прикреплены только орденские планки. После войны – до 1948 года – орденосец был уважаемым человеком, что отражалось и на материальном положении. Папа бесплатно пользовался общественным транспортом, а раз в год бесплатно мог ездить лечиться на юг. Запали загадочные слова «Цихисдзири», «Цхалтубо». За каждый орден государство платило. Сколько – не помню, но вместе с другими льготами (освобождение от подоходного налога, скидка при оплате жилья и пр.) это давало ощутимое облегчение. Поэтому, думаю, он и носил орденские планки. «Это тыловики бренчат наградами», – как-то сказал он. Действительно, никто из папиных сослуживцев ордена не нацеплял. Мой дядя, окончивший войну в Германии, никогда ордена не надевал, хотя их было не меньше, чем у папы. Потом – в 1948-м году – все выплаты, льготы и пособия отменили, конечно, по желанию самих фронтовиков; о фронтовиках забыли и уже никогда не вспоминали, кроме «потешных»

шествий» раз в году 9-го Мая стариков с обилием юбилейных медалей, значков Отличников Внутренних войск СССР или Внутренних войск НКВД. И двухдневные фальшивые славословия в адрес Победителей, живущих в жутких коммуналках или развалюхах-избах. Плюс праздничные наборы с полукопченной колбасой (пол-палки) и баночками с крабами и красной икрой. И – будет! Планки на папином пиджаке остались, папа их не снимал. Возможно, для памяти. Но, скорее всего, чтобы не было дырок на их месте. Другого пиджака у папы долгое время не было. Когда же появился новый костюм – это где-то к концу 50-х – планки исчезли. Я же долгое время рассматривал ордена и медали и представлял, как папа воевал. О войне он рассказывать не любил. Как и мой дядя, и все другие наши родные или друзья, прошедшие войну. (Значительно позже моя теща – человек удивительный, мужественный и добрый, меня искренне любивший и во всем поддерживающий – неожиданно резко оборвала, когда я уже не в первый раз спрашивал ее о войне. «Вы дали подписку о неразглашении?» – сыронизировал я. «Ничего я не давала. Если начну рассказывать – вспоминать, проживать все это ещё раз, я сойду с ума». Всю блокаду она была в Ленинграде, работала в городской прокуратуре референтом по особо опасным делам. Расследовала случаи людоедства, которых было значительно больше, чем можно себе представить. Страшное.)

...В другой жизни, но как будто вчера-позавчера мой папа, лет семи, также рассматривал ордена своего деда – Павла-Августина Иосифовича. Впрочем, когда папа рассматривал ордена моего прадеда, того уже звали Павлом Осиповичем – прадед перешел из Католичества в Православие. Орденов было много и, как папа рассказывал, каждый раз, когда прадед надевал все ордена, а делал он это также крайне редко, только по случаю парадов на Марсовом поле – бывшем Царицыном лугу, или Высочайших смотров Павловского лейб-гвардии полка, где он служил и которым некоторое время командовал, так вот, каждый раз получалось разное число. Папа никак не мог сосчитать, сколько у генерала Павла Яблонского их было. Более всего папе нравился Орден св. Анны 2-й степени с мечами и бантами, Орден Почетного Легиона. И ещё румынский Железный крест.

...Совсем в другой жизни, но – рукой подать, несколько поколений... Из небольшого деревянного дома, который стоял на углу Литейной перспективы и Кирошной улицы, на том месте, где находится Дом Офицеров – «луч надежды», у которого я рассматривал афиши с именами чудесных ленинградских артистов и музыкантов, – из этого казенного сруба часто выходил высокий, худощавый, но жилистый человек в длинной шубе. Он заметно горбился, поэтому впереди ее полы чуть касались земли. Офицеры на вахте около его дома, вдоль Штаба Корпуса военных поселений – это следующий дом по Литейному после Кирошной – и далее, по всему пути следования мрачного господина в простой шубе вытягивались во фронт и замирали, но он шагал мерно, четко и, казалось, не замечал эти окаменевшие фигуры, заиндевшие от мороза и ужаса лица. Его взгляд был устремлен вниз, словно он боялся оступиться и нарушить чеканный ритм своего движения, а голова была привычно склонена к левому плечу. Нависший лоб, надменно взлетевшие мохнатые брови, поджатые губы с чуть приподнятыми уголками, впалые щеки, мясистые, плотно прижатые к черепу уши и глубоко посаженные серые прозрачные глаза выдавали в нем человека умного, надменного, беспощадного, озабоченного и безупречного. Он переходил Фурштатскую, затем Сергиевскую и, не доходя до Захарьевской, сворачивал направо, вглубь, к Собору Преподобного Сергия Радонежского. Там он находился продолжительное время, исповедуясь и причащаясь, но чаще – просто в молитве или молчаливом раздумье. «Много ляжет на мою голову незаслуженных проклятий»... Выйдя из храма, он обычно доходил до Невы, стоял, глядя на ледоход или на темные фигурки, спешившие от берега к берегу по вставшему льду, на силуэт Петропавловской крепости, мутно вырисовывавшийся по левую руку, и возвращался домой, также тяжело, ритмично и неумолимо ступая по намертво замерзшей земле. Это был граф Алексей Андреевич Аракчеев.

... Там, где был Собор Преподобного Сергия Радонежского, с 1932 года сделали приемную НКВД, где часами выстаивали ленинградцы и невольные гости нашего города в очередях, чтобы узнать о судьбе близких – отцов, сыновей, матерей, дочерей, внуков, друзей... Справок там не выдавали, но, если посылочку не брали, значит...

*«И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград...»*

... Во время вечерних прогулок, но чаще днем – уже при полном параде, то есть в идеально подогнанном мундире темно-зеленого цвета, но без единого ордена, темно-серых рейтузах с лампасами и в золотых эполетах, порой с накинутым на плечи плащом с пелериной – подчеркнуто скромным щеголем, чем также привлек симпатии своего первого патрона – Павла, встречал граф Аракчеев князя Виктора Павловича Кочубея. Того самого Кочубея, который приходился дедом князю Виктору Сергеевичу Кочубею – начальнику Главного управления министерства Императорского Двора и Уделов, в особняк которого на Фурштатской мы с мамой носили мои анализы, помните? Того самого князя Виктора Павловича Кочубея, которому цесаревич Александр Павлович написал 10 мая 1796 года удивительное письмо, где помимо всего прочего говорилось:

«В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а Империя стремится лишь к расширению своих пределов. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправлять укоренившиеся в нем злоупотребления; это выше сил не только человека, одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже и гения, а я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнять его дурно. Следуя этому правилу, я и принял то решение, о котором сказал Вам выше. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого неприглядного поприща /.../ спокойно поселиться с женой на берегах Рейна, где буду жить спокойно честным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы».

Князь Виктор Павлович имел свой особняк, купленный у князя Лобанова-Ростовского, на Фонтанной реке, прямо около Цепного моста. Это было просторное, вытянутое вдоль реки трехэтажное здание с фантастически роскошными интерьерами, и князь гордился своим дворцом, достроенным и отделанным Монферраном. Однако в слободе лейб-гвардии Преображенского полка он появлялся часто и регулярно. Здесь в прекрасном деревянном доме на углу Литейной перспективы и Пантелеймоновской улицы жил его сын – князь Василий Викторович.

У князя Виктора Павловича и его супруги – Марии Васильевны, урожденной Васильчиковой, дети были на удивление красивы, аристократичны, импозантны, – что вы хотите: их прадедом был Василий Леонтьевич Кочубей – Генеральный писарь и Генеральный Судья Коша – Войска Запорожского. «Богат и славен Кочубей...» – помните? Однако Василий Викторович выделялся и своей внешностью, и своей ученостью, и непередаваемым благородством подлинного барина. Что скрывать, он был любимцем родителей. Помимо этого, молодой Кочубей был известнейшим коллекционером и нумизматом, его коллекции превосходили по качеству и объему все известные в ту пору собрания, кроме Эрмитажа. Библиотека же его насчитывала более 5 тысяч томов. Так что Управляющий (Министр) министерства Внутренних дел князь Виктор Павлович имел ещё одну побудительную причину быть частым гостем Литейной стороны: его интересовали коллекции сына.

Иногда все они: Великий Князь Михаил Павлович – *Рыжий Мишка*, Кочубеи, Аракчеев с Минкиной – встречались у пивного ларька на углу Артиллерийской улицы и улицы Короленко. «Клавочка, душенька, подлей графу ещё теплого, а то хворый он стал». Минкина всё норовила пролезть без очереди, Рыжий Мишка ее совестил, но она разве послушает. Поэтому ее и порешили. После двух кружек все шли в дом, где жил Самуил Яковлевич. Там в полуподвальном гастрономе давали портвейн «777». Незабываемый вкус. Помните? Маршак с ними не пил. Он писал «Сказку о глупом мышонке».

Князь Василий Викторович жил по соседству с графом Аракчеевым – через дом. Его шикарный собственный деревянный дом с обширным садом располагался на том месте, где впоследствии выстроили знаменитый Дом Мурузи. Место это примечательно не только потому, что я провел в нем тридцать пять лет своей жизни. Молодой, прекрасной жизни... Когда-то здесь стоял дом камергера и основателя Российско-американской компании Николая Петровича Резанова – Правителя канцелярии кабинет-секретаря Екатерины Второй Гавриила Романовича Державина. Примерно в то время, когда камергер Николай Резанов на шхуне «Авось», то есть в 1806 году, приближался к Калифорнии, деревянный особняк с белыми колоннами наследники путешественника продали купцу Меншуткину, а в 1808 году, когда юная Кончита, прождав более года своего возлюбленного, давно уже погибшего под Красноярском, ушла в монастырь – «я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду», – где провела 49 лет, до самой своей смерти, на участке высился уже богатый сруб с верандами и террасами.

Большинство домов в Петербурге даже в те времена были ещё деревянными...

Собственно говоря, граф Алексей Андреевич Аракчеев также имел собственный дом. На Мойке. Это был дворцовый трехэтажный особняк с обработанным ионическими пилястрами ризалитом и треугольным фронтоном, «растреллиевским» глубоким зеленым цветом, *в pendant* Зимнему, и, главное, вблизи Зимнего, в ансамбле Зимнего. Рядом с Государем. Именно поэтому граф – человек непритязательный и аскетичный – с такой энергией ухватился за возможность выстроить свой дом на месте сноса задворков жилых домов, выходящих фасадами на Дворцовую площадь.

Однако в этом доме граф практически не жил. Довольно скоро он понял: чтобы находится в сердце Государя, отнюдь не обязательно было жить по соседству. Зато накладнее. Значительно накладнее. При всем том, что граф Алексей Андреевич был абсолютно бескорыстен, служа своим Государям, не терпел всяческих нарушений воинской дисциплины и установленного порядка, особенно был суров к взяточникам и нещадно боролся с ними (за что также был ненавидим в высшем свете и чиновничьей элите), при всем этом он был прижимист, а точнее – скуп. Посему вскоре после постройки особняка на Мойке он его продал, оставаясь жить в скромном доме 2-й Артиллерийской бригады. Когда же Александр предложил: «Возьми дом себе», – Аракчеев ответил: «Благодарю, Государь, на что он мне?! Пусть останется Вашим, Ваше Величество, на мой век хватит». Здесь не столько благородство и бескорыстие. Отопление собственного дома, будь он на Мойке или на Литейной, освещение, уборка, ремонт, покраска, обслуживание – за свой счет. А так – пусть Бригада платит. Это – большая экономия.

...Встречая князя Кочубея-старшего, Аракчеев кланялся подчеркнуто и преувеличенно почтительно, словно вкладывая в свой поклон долю саркастического презрения к высоко вознесенному коллеге.

Граф Алексей Андреевич ближайшего советника Александра, князя Виктора Павловича, не любил, чувствовал в нем надменного чужака и ревновал. Он прекрасно понимал, что его Император – Александр Первый – ему, Аракчееву, никогда такого письма ни по содержанию, ни, главное, по тону и степени откровения не написал бы. Что же касается ревности... О, граф был ревнив, злопамятен и мстителен.

...Первый Министр полиции России генерал-адъютант Александр Дмитриевич Балашов, тот самый, который ездил с дипломатической миссией – не удавшейся – к Наполеону (помните

«Войну и мир»?) – этот самый пронизательный «омерзительный Иуда-Балашов», как величал его Иван Долгоруков, этот Балашов как в воду глядел. Когда 13 июля 1812 года Александр прибыл в Москву, Федор Васильевич Ростопчин явился к нему в Кремлевский дворец с тем, чтобы сообщить о решении собрания Московского дворянства и купечества учредить ополчение в 80 000 человек в полном снаряжении, вооружении и с провиантом, а также о собранных пожертвованиях в размере 13 000 000 рублей. Государь изволил выразить свое удовлетворение тем, что назначил Ростопчина Главнокомандующим Москвы и на прощание расцеловал его. Находившийся рядом граф Андрей Алексеевич поздравил удачливого соперника, прибавив: «Государь никогда не целовал меня, хотя я служу ему с тех пор, как он царствует». Вот тогда Балашов и шепнул Ростопчину: «Будьте уверены, граф, Аракчеев никогда не забудет и не простит вам этого поцелуя». Действительно, до конца дней Ростопчина Аракчеев всячески вредил и его карьере, и репутации, в результате чего бывший Главнокомандующий Москвы после отставки вынужден был покинуть в 1815 году Россию и жить преимущественно во Франции. Свет отторгнул его... Что там Отелло со своими страстями! Ревность российского царедворца во все времена – страшная сила.

Император Кочубея не лобызал, во всяком случае, при Аракчееве. Однако интуиция у графа была отменная. Плюс еле скрываемая ненависть сына обедневшего дворянина к представителю богатейшего и знатного рода, ведущего свою родословную с XVII века от Кучубея. Все свое всевластие граф постоянно направлял на сокрушение соперника – не столько в службе, сколько в сердце Александра. Император продолжал иметь душевное расположение к Кочубею, хотя после 1807 года Кочубей все более и более расходился с Государем в вопросах внешней и внутренней политики. Отставка князя в 1823 году вызвала уже нескрываемое торжество графа Алексея Андреевича. Пока же – раскланивались, хотя встречи с Министром внутренних дел его не радовали.

...Аракчеев любил своих государей, точнее – двоих из трех. Это была самозабвенная, глубокая и бескорыстная любовь. Государь и, особенно, государыни, всегда имели своих фаворитов, и эти фавориты были беззаветно преданы душой, умом, а порой и телом своему повелителю/повелительнице. Ни Меншиков, ни Бирон, ни Разумовский, ни оба Орлова или Потемкин живота своего не жалели ради своих благодетелей, для успеха их дела, любили их горячо и доблестно любовь сию подтверждали. Но и себя не забывали. Исключение, пожалуй, составил генерал-адъютант бригадир Андрей Васильевич Гудович. Приставленный Елизаветой к Великому князю Петру Федоровичу в звании камергера (в числе пяти других) Наследника престола герцога Шлезвиг-Гольштейнского, полковник Гудович стал не только фаворитом, но наставником, соратником и другом закинутого в чужую страну несчастного неудачника-реформатора, мужа Екатерины. Гудович неотлучно состоял при Императоре, во время переворота, когда все приближенные и генералитет бежали, лишь он и фельдмаршал Миних, оставаясь верными долгу и чести, не оставили обреченного Петра Федоровича. Вместе с ним Гудович был арестован и просидел под караулом несколько недель. Последовавшее предложение Екатерины остаться на службе в прежнем звании он отверг, выехал за границу, затем вернулся в свое имение в Черниговской губернии, где прожил до самой смерти Екатерины, которой не простил смерти своего Императора. Павел при восшествии на престол призвал его в столицу, произвел в генерал-аншефы, пожаловал орденом Александра Невского, но Гудович в столице бывал наездами, а после убийства сына Петра Третьего более в Петербурге не показывался до своей смерти в 1808 году. В те времена ещё встречались порядочные люди на троне и вблизи него.

Аракчеев был предан и Павлу, и Александру. Павел вывел в люди, благодаря рекомендации графа Николая Ивановича Салтыкова, приблизил к себе толкового и старательного артиллерийского офицера, сделал комендантом Гатчины, командующим всеми своими сухопутными силами. Не ошибся, а все более очаровывался неустанной службой «лучшего в Импе-

рии мастера фрунта и дел артиллерийских». По восшествии же на престол молодой Император своего любимца и единомышленника в военном деле осыпал милостями: к 27 годам Аракчеев получил звание генерал-майора, Анну 1-й степени, св. Александра Невского орден, Грузино в Новгородской губернии, был пожалован Петербургским комендантом и возведен в баронское достоинство. Однако главная награда случилась в срединные дни ноября 1796 года. Срочно вызванный из Гатчины вступившим на престол Павлом, полковник Аракчеев как был, в одном мундире, с трудом нашел Императора в Зимнем дворце. Тот тут же произвел его в генералы, назначил комендантом столицы и представил нового военного генерал-губернатора Петербурга – цесаревича Александра Павловича. При этом он соединил руки сына и Аракчеева, изволив молвить: «Будьте друзьями и помогайте мне!». На другое утро молодой генерал вскользь посетовал новому другу, что давеча, прибыв по Высочайшему срочному вызову, не имеет даже смены белья. Александр послал ему свою холщовую рубаху. В ней, согласно завещанию, Аракчеева похоронили через 38 лет. Умирая, он держал перед собой портрет Александра. Отказавшись от пожалованных ему орденов св. Владимира и св. Андрея Первозванного, а также от звания фельдмаршала, он принял из рук Александра одну награду – портрет государя, осыпанный брильянтами. Брильянты с рамы он снял и отослал обратно, а портрет сохранил, с ним в руках он отошел в мир иной. Чудное, чудное, ныне трудно распознаваемое было время...

Князь Кочубей, в свою очередь, как, впрочем, все остальные люди его круга, симпатий к графу не испытывал, сторонился его, скрытно стыдясь общением с ним. Они раскланивались сухо и подчеркнуто официально. Соседи, как-никак.

Кого встречал граф Аракчеев с непритворной улыбкой, так это графа Петра Андреевича Клейнмихеля. Когда-то Петруша был его адъютантом. С этого и началась его блистательная карьера начальника Штаба Военных поселений, начальника Департамента поселений, министра Путей сообщений. При всем различии происхождений, они были похожи. Оба – доблестные служаки, для которых служба была смыслом жизни. Оба беззаветно служили своим государям: Аракчеев – Александру, Клейнмихель – Николаю, беспрекословно выполняя все их распоряжения. Оба были лучшими: Аракчеев – в артиллерийском искусстве, Клейнмихель – в строительном деле. Оба были неподкупны, пунктуальны, жестоки и грубы. Обоих отторгал свет и откровенно ненавидели при Дворе, но Государя без обоих не могли обойтись.

Граф Петр Андреевич квартировал рядом – по диагонали от казенного дома Аракчеева, прямо напротив особняка Кочубея: на углу Литейной перспективы и Пантелеймоновской улицы. В 1830 году Клейнмихель дом откупил. Однако в это время Аракчеев, вынужденный выйти в отставку, так как Николай не простил ему неучастия в подавлении возмущения на Сенатской площади, почти в Петербурге не бывал, проводя свое время в Грузино.

А лет за 10–12 до того момента, как Клейнмихель откупил дом на углу Литейной и Пантелеймоновской и незадолго до известного бала-маскарада, устроенного графом Аракчеевым в честь Варвары Александровны Клейнмихель, к которой Аракчеев испытывал особое расположение (это было прямо перед разводом Клейнмихелей по поводу обидного для мужчин *физического недостатка* супруга и, соответственно, отсутствия детей), когда на князя Кочубея по смерти графа Сергея Кузьмича Вязмитинова и последовавшей кончины Осипа Петровича Козодавлева было возложено руководство Министерством внутренних дел с прибавлением дел Департамента полиции, когда Александр Сергеевич Пушкин путешествовал по Крыму, в доме Александра Михайловича Булатова, что на 1-й Спасской улице под номером «1» – прямо напротив моего дома Мурузи, под нашими двумя окнами, – проходили собрания «Ложи Соединенных друзей», когда состоялась закладка четвертого Исаакиевского Собора по проекту Монферрана, и Симон Боливар провозгласил федеративную республику «Великая Колумбия», то есть где-то в 1819 году или чуть позже невдалеке от резиденций Аракчеева, Кочубея-сына и Клейнмихеля – на участке № 509, как раз между 1-м и 2-м Спасскими переулками рядом с домами полковника Зотова и купчихи Сафоновой купил особняк недавно

приехавший в Россию молодой австрийский каретный мастер. Иосиф Францевич Яблонский. Мой прапрадед. Дом был хороший: трехэтажный, с изящными сандриками над окнами, белой лепниной на фасаде, окрашенном в желтый «россиевский» цвет. Каменный дом. Подданному Австро-Венгрии жить в деревянном доме было как-то непривычно...

Раскланивался ли господин Яблонский с Аракчеевым или Кочубеями, неизвестно. Скорее всего, раскланивался. Вряд ли они отвечали на его поклоны. А ежели и отвечали, то не глядя. Но услугами наверняка пользовались, как и большое количество офицеров лейб-гвардии Преображенского полка. Кареты часто ломались – вечная проблема: «дураки и дороги» – ничего не изменилось, да и потребности господ офицеров по мере продвижения по службе возрастали – требовались новые экипажи. Не случайно Иосиф Францевич выбрал для места своего жительства самое сердце Преображенской слободы, простиравшейся от Литейного проспекта до Конногвардейской и Слоновой улиц (Суворовского пр.) и от Сергиевской улицы до Виленского переулка... Как будто вчера это было, и – в другой жизни. Вижу: из дома номер 8 по Спасской улице – потом названной именем не очень мне симпатичного декабриста, но поэта Кондратия Рылеева – из дома номер 8 по Спасской (Рылеева) выходит пожилой господин в шубе мехом вовнутрь, с ним его сын – молодой офицер Павел Яблонский, недавно переведенный из подпоручиков 145-го пехотного Новочеркасского Императора Александра Третьего полка в лейб-гвардии Павловский полк, он ведет под руку своего сына – Александра, только что выпущенного X классом из Училища Правоведения (59-й выпуск, 15 мая 1898 года), будущего надворного советника, с ним – мой папа, Павлуша, он в девичьем платье, как было принято в 10-х годах нового XX столетия одевать мальчиков. А вот и я. Плечусь сзади. На мне матроска с якорем и ботиночки со шнурками – подарок моего дяди. Навстречу – вдова Василия Викторовича Кочубея – Елена Павловна, урожденная Бибикина, падчерица А. Х. Бенкендорфа. Она приветлива, ей нравится платьице моего папы. Из Спасо-Преображенского собора выходит граф Аракчеев. Истоиво перекрестившись, басит: «Так это целая артиллерийская команда. Иоська Францевич, отдай их мне. Молодцами сделаю!» – «Этот, пожалуй, сделает!» – ехидно роняет генерал Александр Александрович Пушкин и поправляет мою матроску. Борода окладистая серебряная. Он особо любезен с Павлом Осиповичем. Знакомы ещё с Балканской кампании 1877–1878 года. Александр Александрович командовал там Нарвским гусарским полком, почти одновременно они вместе с прадедом были награждены золотым оружием с надписью: «За храбрость» и Владимиром IV степени. Сыну Пушкина тогда было 44 года, моему прадеду – около 30-ти. Павел Осипович имеет квартиру в казармах лейб-гвардии Павловского полка на Царицыном лугу (Марсовом поле), минут десять – пятнадцать неторопливым шагом от нашего дома. Генерал Александр Александрович Пушкин квартирует в Доме Мурузи, как и мы. Правда, его просторные апартаменты имеют вход с Пантелеймоновской, у нас же вход в коммуналку без удобств – с Короленко.

Иосиф Францевич Яблонский умер в 1884 году.

Павел Осипович – в 1914-м.

Александр Павлович 1-й – в 1924-м.

Павел Александрович – в 1991-м.

Александр Павлович 2-й – ещё жив. На пути к Городу.

*Уже бледнеет и светает
Над Петропавловской иглой,
И снизу в окна шум влетает,
Шуршанье дворника метлой.
Люблю домой, мечтаний полным
И сонным телом чужа хлад,
Спешить по улицам безмолвным*

Еще сквозь мертвый Ленинград.

«Саша, выходи!» – это Адик Гликман. Вход в его коммуналку – тоже с Пантелеймоновской или тогда – с улицы Пестеля, первая парадная от Литейного, квартира № 14. С Адиком мы дружим. Точнее – курим. Иногда мы ходим друг к другу в гости. У него симпатичные родители, которых я не помню. Но помню бабушку. Она всегда открывала входную дверь. Полное имя Адика – Адам, что веселит наших сверстников. «Адам, а Адам, где твоя Ева?!» – это уже не шутка, а приветствие. В гости друг к другу мы ходим редко, только зимой. А как только потеплело – с середины или конца апреля – «Саша, выходи!». Если я не слышу, так как занимаюсь на рояле, мама говорит: «Тебя Адик выкликает, иди уж». Она не знает, зачем он меня выкликает. Я выглядываю в окно: он стоит на привычном месте, напротив, около дома декабриста Булатова, где проходили собрания его единомышленников.

Дом, угловой, выходящий на Рылеева и Короленко, строго говоря, принадлежал поначалу не самому Александру Михайловичу, а его матери, Марии Богдановне Булатовой, урожденной Нилус, супруге генерал-лейтенанта Михаила Леонтьевича Булатова – будущего губернатора Западной Сибири. В те пушкинские времена в народе дом называли «домом генеральши Булатовой». Александру Михайловичу он перешел по наследству позже, когда он там жить уже не мог – он вообще не мог жить, а мы там ещё не курили.

Так вот, в гости к Булатовым – удивительное семейство, даже по тем уникальным временам – мы и шли. Но не в гостиные комнаты и не в залы второго этажа, где, как говорили старушки нашего дома, бывал на балах Пушкин; нет, мы топали в подвал. Танцевал ли в залах Пушкин, мне неизвестно. Возможно, старушки нафантазировали. Однако то, что в этом доме поэт бывал, это точно: в правой части дома жил в начале тридцатых годов камер-юнкер Николай Михайлович Смирнов (вместе, кстати, со своей знаменитой женой Александрой Смирновой-Россет) – близкий знакомый Пушкина. Возможно, Пушкин там даже курил, если он вообще курил. Но не в подвалах, как мы, а в гостиной или в бильярдной. Наверняка курил, потому что нервничал, когда занимал у Николая Михайловича в долг пять тысяч рублей. Николай Михайлович был большой богач. Пушкин всегда нервничал, занимая в долг, – не любил это занятие. Долг в 5000 рублей ассигнациями Н. Смирнов получил уже после смерти Пушкина – Николай отдал.

Ленинградские подвалы послевоенного времени... Это были лабиринты с навалом битого кирпича, тайными лазами в соседний подвал, кошачьими колониями, дровяными кладами, рухлядью, своими обитателями и своими законами. В то время, когда мы с Адиком спускались в подвал дома Булатовых – а это был 1953-й–54-й год, обитателей подвалов уже почти всех выловили, но милиция иногда наведывалась. С опаской, униженно пригибаясь, как бы кланяясь, спотыкаясь и матюгаясь, пробирались доблестные служители порядка сквозь завалы и полуобвалившиеся стены, обшаривая закоулки лучиками электрических фонариков. Кошки с визгом шарахались и рассыпались по сторонам.

Курили мы самые дешевые коротенькие сигареты «Новые» – сантиметра два длиной. Сначала слегка кружилась голова, и это было интересно, но потом привыкли. Влекло не курение само по себе, а весь процесс: во-первых, надо было пробраться в подвал, чтобы никто не заметил (правда, никто и не следил). В подвале был желтоватый мрак, прорезаемый лучами света, пробивающегося сквозь щели и плоские подвальные оконца, в узких коридорах которого стояли неподвижные столбы плотной пыли. Затем предстояло проникнуть в заветные укромные уголки, спокойно закурить, вслушиваясь в неясные звуки, шорохи, скрипы, вздохи старинного дома, беседуя на различные темы и наслаждаясь своим подвигом, уединенностью и недосыгаемостью. Нам было лет 9–10. Потом бежали в аптеку на Пестеля и покупали «Сенсен» – тоненькие ароматические таблеточки за 4 копейки, чтобы отбить запах изо рта. Иногда мы заходили в гости к Клейнмихелю. На углу его дома размещалась кондитерская, где можно

было выпить стакан томатного сока, посыпая его крупной влажной серой солью, неизменно заполнявшей две трети граненого стакана, или – для разнообразия – яблочного, персикового или клюквенного.

Пару раз Адик приводил нового мальчика, только что переехавшего в наш дом. Очень хочется вспомнить, что это был рыжий мальчик. Надо бы вспомнить – кто проверит! Скорее всего, это действительно был рыжий мальчик. Так соблазнительно намекнуть, что я уже в ранней молодости курил и размышлял о поэзии с Нобелевским лауреатом. Потомки этот намек превратили бы в исторический факт, и обо мне писали бы монографии. И, возможно, поставили бы маленький памятник, размером с заварной чайник, вместе с памятником Бродскому, который хотели возвести в сквере рядом с домом Булатовых около Спасо-Преображенского собора на заросшем тогда сочной травой треугольнике, где располагалась временная звонница сгоревшего в 1825 году собора. После пожара хозяева «дома генеральши Булатовой» (сама Мария Богдановна ушла в мир иной в 1822 году) предоставили свой дом, в подвалах которого мы с Адиком курили, по Спасской (Рылеева) 1 для богослужения, а перед домом поставили козлы, на которых повесили новые колокола. Старые от сильного жара расплавились. Отсюда вскоре направился в свой последний путь сын генеральши – мой сосед и тезка – Александр Булатов... Потом передумали ставить там памятник Бродскому – слишком уж уникальное историческое место, – собрались сотворить его на брандмауэре Дома Мурузи. Там и мне могли бы отвести место на его тыльной стороне рядом с креплением. Однако Иосиф Бродский с семьей въехал в наш Дом Мурузи (квартира № 27 или 28 – стал забывать, первый парадный подъезд от Преображенской площади по Пестеля) в 1955 году, когда я перешел из 182-й школы в 203-ю – Анненшуле, и с Адиком уже не курил. Да и не стал бы он курить с малолетней шантрапой: был старше нас на пару лет. Я вообще бросил это занятие, так как стал заниматься плаванием. У нас – у пловцов – западло было дыхалку табаком керосинить. Так что это был другой рыжий мальчик.

В удивительном мире я рос. Сигареты «Новые», сын Пушкина и мой прадед, Аракчеев, рок-н-ролл, дворник Алексеева, приносившая дрова, магазин с плавающими в аквариуме карпами, папины ордена, Булатовы, Танечка-физкультурница, Брюс, Миклухо-Маклай, Корчной, Кочубей, папа, Адик, Горемыкин, невесты у «луча надежды»... Я с ними беседовал, играл, жил в их мире и только к старости, во время приближения к Городу, стал понимать, какой это был странный, уникальный, так и не познанный мир, и как мне улыбнулся Всевышний, погрузив в это подрагивающее марево теней, давно ушедших, живых, загадочных и притягивающих имен, событий, соседей, предков, домов, этого пяточка, размером примерно в 2 квадратных километра, на котором была соткана история города, страны, моя история. По сию пору говорю, спорю, размышляю с моими соседями. Поражаюсь им. Восхищаюсь. Пытаюсь учиться. И не могу понять ни их, ни нашу историю, ни нашу страну, ни себя... Аполлонич разберется.

Курить я бросил, зато начал пить. Точнее – выпивать. Сначала понемногу. И не сразу после окончания курительного периода. С зазором в лет пять... А за пять лет столько произошло!

Венерические заболевания очень серьезно осложняют жизнь!

– Голубчик, ну что вы понаписали?! Гладенько, но так скользко. Как бы вам, голубчик, не поскользнуться. Не на «Снегурочках» катайтесь! Учитесь у князя Трубецкого. Всё выложил. Даже все то, о чем и не спрашивали, о чем и не догадывались.

– Не запендюривай мне хвздополку, чмо!

– Мое дело предупредить, Ваше высородие. Про Адамицкого Игоря Алексеевича – кот заплакал. Да и то – иеромонах Епифаний, георгиевский какой-то кавалер. Предки... Кого это е...т!? Ты мне про «Часы» докладывай, сука, про этого, как его, Останкина, про всю эту кодлу.

– Останина!

– О! Теперь ты колешься натурально! Потей, старайся и не бзди, прорвешься! А то – иеромонах, сволочь.

– Виноват, товарищ коллежский асессор. Только напрасно вы меня с товарищем Трубецким ровняете. Или с этим... Пестелем. Я не энтузиаст-стукач. Я за идею страдаю. И вообще, пошел вон, козел!..

– Не извольте беспокоиться. Исчезаю-с, истаиваю-с...

Адамицкого я любил. Он был умница. Настоящий ленинградец, моего призыва воин. *«Город не сдался ни перед кем и ни перед чем. И я не знал, что через полстолетия сюда придут полчища (...) лавочников с «верхним» образованием и глубиной ума инфузориш-туфельки, и возьмут город голеньким. Без оружия. Но с деньгами. Чтобы явилось пророчество: «**Петербургу быть пусту**». Или чтобы лечь, как девка, под унылое однообразие стандартной глобальной цивилизации. «**Маска Гиппократ**» обозначилась на лице города, начиная с третьего тысячелетия».* Это он уже не о Ленинграде. О нынешнем Санкт-Петербурге. Питер-Бурхе эпохи всеобщего изумления и деградации.

Последняя русская царица и последняя царствующая равнородная неиноземная супруга русского монарха Евдокия (Лопухина) – старица Елена – была права... *Пусты были.*

Поезд дернулся, остановился, снова дернулся. Прощай, Тверь, несостоявшаяся столица России. Мимо испуганной змеей прошмыгнул встречный. Тронулись. Опять встали.

Наконец сменили пластинку. Встречный подкинул, что ли.

*Не изменяя веселой традиции
Дождиком встретил меня Ленинград.
Мокнут прохожие, мокнет милиция,
Мокнут которое лето подряд.*

Сердце сдавило. Лучше бы продолжали про холодные руки.

Это была самая лучезарная страничка моей жизни. Нечто подобное случилось позже, лет через тридцать с гаком, но тогда – в 90-х – интуиция, опыт и знания подсказывали, что все это ненадолго. Надежд не было, было лишь желание и потребность надыхаться, пока опять не прикрыли форточку. Прикрыли по желанию трудящихся, конечно. Когда же закончился мой курительный период – совпало все: возраст, время, наивность, память, надежды, их воплощения. Это – как рассвет. Ночь ещё не ушла, но уже не страшна, вернее, ещё страшна, но не пугает, кажется, что кошмары позади. Уходящие ночи – это не только ужас всевластия упырей, черные воронки, звонки в дверь в три ночи, шмыгающие тени и трупный запах изо рта Василия Ульриха. Ночь – это посвистывание соловья, аромат душистого табака и ночной фиалки, мерцание звезд и гвалт цикад. И – забрезжило. Ночь истаивает, и уже одно это радует. Кажется, вернее – казалось, что рассвет принесет солнечный радостный день. Температура будет умеренной. После этого чудного дня, возможно, потом опять наступит ночь, но это будет светлая июньская белая ночь, пора первой любви, робких поцелуев на набережной и новых надежд. Иначе быть не может после такого рассвета. То, что после робкого, но светлеющего утра будет серый коротенький промозглый день и снова длинная черная безысходная ночь, в те чудные времена не верилось. Значительно позже жизнь научила, что с временами суток и года на нашей территории несколько иной порядок, нежели в природе. После ночи, как правило, наступает ещё более дремучая ночь. После оттепели – удар по почкам и перелом позвоночника.

Тогда же опыта не было. Не было на памяти наших отцов и, тем более, на нашей памяти наступления утра после ночи. Ночь была перманентным состоянием нашей жизни и настроя души. И в то время, когда я бросил курить, ночь ещё не ушла. На трибуне Мавзолея уже белой вороной стоял стилиста периода полночной стужи. Матерчатый желтый картуз и полувоенный

китель производства московского закройщика Шамберга наглядно свидетельствовали о приверженности их обладателя – верного соратника, ученика и последователя, а также двурушника, участника антипартийной группы, вместе с «примкнувшим Ш.», – к немеркнущим идеям и попорченным нормам. Сын дворянина из братской Македонии не был однозначной фигурой, как, впрочем, многие из ближайшего окружения кремлевского горца. Не все негодяи были дураками. Максимильяныч отменил «конверты» – за что и поплатился: партийная элита не могла так просто отказаться от неучтенной второй – «черной» зарплаты. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Партийная совесть и материальные блага всегда у нас были непересекающимися плоскостями. Хрущев «конверты» вернул и выиграл. Временно. Белая ворона в кителе à la Киров или Орджоникидзе также предложил вдвое снизить сельхозналог и простить недоимки прошлых лет: «Пришел Маленков – поели блинков» – в деревне его полюбили. В 1954 году, 19 февраля, под его председательством Совет министров СССР принял обстоятельно фундированное и верное решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР, «*учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР*» (указ подписал товарищ тогдашний «Президент» Клим Ворошилов). Не зря Маленков посидел в кресле премьер-министра. «Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия, и товарищ Маленков надавал ему пинков». Однако при всем этом в памяти его одутловатая опухшая рожа, сталинская тужурка – полукитель с матерчатými пуговицами, тусклый взгляд – все это осталось символом уходящей страшной ночи, эпохи вечной мерзлоты.

В это же чудное время племянники, зятья, внуки и даже дети стилиг с трибуны над Саркофагом уже открыли новую эпоху: стилиг-«штатников».

Слово «стилиги» появилось в каком-то фельетоне, имя автора упоминать стыдно. Мудак какой-то. Идеиный, малограмотный, бездарный. Стилигами были все. В том числе и эти, в шляпах и с красными бантами на первомайской трибуне. Стилиги Политбюро и Центрального комитета. Их отпрыски – прежде всего студенты МГИМО, имевшие доступ к иностранцам, хотя бы типа Поля Робсона или Жерара Филиппа, не говоря уж о дипкорпусе, открыли новую эпоху стилиг – штатников. Моментально новая генерация штатской молодежи соскользнула с поднебесья недоступного МГИМО сначала в зарождающуюся фарцу с ее лидерами Яном Рокотовым – «Косым», Владиком Файбишенко – «Червончиком», Юрием Захаром, а затем – в широкие молодежные массы. Эти стилиги были утренними людьми. Свободными и молодыми. Они вырывались из серой жизни, унылой бытовой культуры и стали жить, как им хотелось. В этом была их оппозиционность. И поразительно: «Софья Власьевна» победила в борьбе с русской культурой и нормальной жизнью, одолела басмачей, сионистов, бендеровцев, нацистов, троцкистов, крестьянство и интеллигенцию. Впервые она проиграла, как точно заметил Лев Лурье, стилигам. Эти молодые люди, напевавшие «Чаттанугу чу-чу», определили дальнейшее развитие общества, которое почему-то называют гражданским. Прошвырнуться по Бродвею значило прошвырнуться в другую жизнь. Дневную. Солнечную.

Брод... «Как много в нем отозвалось»...

Поразительное было время. Коньки «снегурки» стали вытесняться «канадками». Почему «канадками»? В Канаде про «канадки» и не слышали. Но мы пересели на «канадки», которые были похожи на «хоккейки», но «канадки» считались лучше. Лучше чего? – Лучше всего, потому что «канадки». Станным образом никому ранее не известная Канада влезла в наши головы. Самая стильная стрижка – «под канадку» или «канадская полечка». Как совместить «польку» – то есть якобы польский стиль прически (или танца?!) с Канадой? – совмещали. Четкой окантовкой в области шеи. Полубокс, возможно, лучше, мужественнее, но продвинутая молодежь предпочитает «канадку» – западнее. Так и с коньками. «Снегурки» были устойчивее, удобнее, особенно для новичков. Но все устремились к «канадкам». Их долгое время было не достать. «Снегурки» имели лезвия, похожие на полозья саней, с загнутым передом. Они

привязывались к валенкам, часто при помощи веревок, закрученных палочками. Однако чаще они крепились кожаными ремешками или хитроумным способом к обыкновенным ботинкам: в каблуке делалось углубление, его закрывала металлическая пластина с овальным отверстием. Конек поворачивался поперек стопы и в отверстие вставлялся штифт, находившийся на пятке конька. Конек разворачивался, и штифт прочно крепил его с ботинком. Целая наука! Но ее одолевали, так как каток был, пожалуй, главным развлечением и самым романтичным местом Ленинграда 50-х – начала 60-х. Катков тогда было много, но, конечно, главный и самый заманчивый – *Цепочка*, то есть каток в ЦПКО на Островах.

Я кататься на коньках не умел, хотя вместе со всеми презирал «снегурочки» и зауважал «канадки». Вместе со всеми моя душа рвалась в Цепочку, но я там бывал редко: не было времени, так как я рос в интеллигентной семье, где было принято играть на рояле, заниматься фигурным катанием и учить иностранный язык – английский. Фигурным катанием я не занимался в силу того, что мой организм, подорванный блокадой, требовал движения в воде и глубокого дыхания. Иностранный язык было не осилить по причине специфики материального положения в семье. По сей день эта специфика сказывается. Короче говоря, в Цепочке я бывал редко, но какое это было наслаждение: хотя бы смотреть на мчавшиеся по освещенному кругу одиночные фигуры и, особенно, пары. Все девушки были очаровательны, стройны, самовязанные свитера с оленями на груди плотно облегли их фигуры, некоторые были в коротких юбочках, надетых поверх рейтузов, из-под вязанных шапочек с помпончиками выбивались развевающиеся по ветру волосы... Играла музыка... Какая музыка! Казалось, что не было прекраснее этих звуков, вбирающих в себя морозный воздух, завораживающий скрежет коньков, смех, легкое кружение поземки. В гущу грустных и волнующих старинных вальсов, полек Штрауса, галопов и жизнерадостных увертюр Дунаевского вдруг стали вкрапываться другие, досель неведомые звуки.

*You load sixteen tons, and what do you get?
Another day older and deeper in debt.
Saint-Peter, don't you call me, 'cause I can't go;
I owe my soul to the company store...*

Несмотря на то, что Поль Робсон был американцем, его голос звучал на просторах СССР. Сталинская премия мира перевесила американское гражданство. Так что спасибо Джозефу Маккарти и его комиссии за то, что бас Робсона – глубокий, бархатный, свингующий – разносил над катком Цепочки эту чудную штатскую мелодию. Помню, мы пели на свои – наши – слова:

*Шестнадцать тонн, умри, но отдай,
Всю жизнь работай – весь век страдай.
Но помни, дружище, что в день похорон
Тебе мы сыграем 16 тонн...*

Сейчас слушаю эту песнь и стараюсь держать свою задолбанную нервную систему в руках. Каждая клеточка помнит то время, которое никогда не вернуть. Стыдно. Хотя уже скоро Город. Ничего не стыдно. *You load sixteen tons, and what do you get?*

Задолго до поездок на каток, мы ездили с мамой на острова кататься на лыжах во время зимних каникул. Вернее, катался я, а мама смотрела, как я неуклюже передвигаю лыжи по лыжне. Лыжи мы брали «на прокат» (или: «напрокат»?) в Елагиноостровском дворце (архитектор – предположительно, Кваренги, скульптурное оформление Пименова и Демут-Малиновского), построенном пятым владельцем острова обер-гофмейстером Императорского Двора

Иваном Перфильевичем Елагиным. Лыжи были с мягкими креплениями, которые постоянно спадали с моих обыкновенных ботинок. Маме было холодно, она постукивала бурками по снегу, приплясывала, пытаясь согреться, и терпеливо ждала, пока я надышусь свежим морозным воздухом. Я же потел в своем осенне-зимнем пальтишке. Мы ехали от дома в полупустом в дневное время вагоне 14-го трамвая, который делал кольцо у ЦПКО. Вечером же, особенно перед выходным днем, Четырнадцатый был забит веселыми молодыми людьми с коньками. Толпа вываливалась на кольцо и выстраивалась в длинные очереди перед кассами, расположенными по углам моста со стороны трамвайного кольца. Редкие смельчаки пытались прорваться мимо контролеров у входных ворот на мост или по льду Средней Невки.

Это было чудное время. Чудная песня. «Шестнадцать тонн», Цепочка, коньки. Непередаваемое время радостного предчувствия жизни. Ожидание светлого бесконечного дня. Я часто думаю, действительно ли мы ездили с мамой кататься на лыжах или мне это счастье только снится...

Выше знамя пролетарского интернационализма!

...Американский турист – в Москве у автомата с газированной водой. Бросает три копейки. Ждет. Автомат жужжит, кашляет, чихает. Американец бросает ещё одну монету. Тот же эффект.

Постоял, почесал затылок, молвил:

– А это идея!!

...Так появились игральные автоматы.

Это – анекдот конца 50-х. Американец у автомата с газировкой уже не в диковинку. Причем этот американец – не поджигатель войны, не шпиён вечно в кожаных перчатках, чтоб не оставлять отпечатков, разбрасывающий по советским улицам свои шпиёнские камни. Сообразительный, как и подобает американцу. Пытается, к тому же, сравнить вкус советской газировки и родной «Пепси». Эта забава была тогда в моде.

В июне 1959 года весь мир облетела сенсационная фотография. Это был не советский спутник рядом с фотографией оборотной стороны Луны, не открытие XXI съезда партии, не изумленные лица москвичей, взиравших на скопление «марсиан» – кинозвезд, прибывших на Первый Международный Кинофестиваль в Москве; с таким же ужасом и осуждением разглядывали советские люди, особенно ошеломленные пожилые женщины, манекенщиц Кристиана Диора, бродивших по ГУМу во время Диоровского дефиле в том же 59-м году. Не фотографии, тайком вывезенные на Запад, кровавого подавления восстания в Темиртау или улыбающихся членов тургруппы Дятлова перед ее отбытием в гибельный и загадочный путь... Нет! Это была фотография Советского лидера Никиты Хрущева, пьющего *Пепси-колу* из картонного стаканчика. Лидер – в неизменной шляпе, в украинской косоворотке под мешковатым пиджаком. Рядом Ричард Никсон и Роберт Кендалл – Президент PepsiCo. Все улыбаются. Улыбаются, так как довольны.

Кендалл доволен успешно проведенной операцией по реабилитации своего присутствия на выставке. Большинство американских компаний бойкотировало выставку во враждебно настроенной стране. Кендалл же нуждался в продвижении своей продукции и завоевании новых рынков. Надо было обставить Кока-колу. Поэтому он уговорил Никсона, с которым дружил, как, впрочем, со многими президентами и лидерами Республиканской партии, свести его с Хрущевым на выставке. Что американский вице-президент и сделал. Оказавшись рядом с настороженным Хрущевым, Кендалл задал провокационный вопрос, на который простодушный Лидер и клюнул: «Какое Пепси лучше: сделанное в Америке или в Москве?» (В Союзе тогда Пепси не производилось!). Никита Сергеевич, попробовав напиток из двух стаканчиков,

определил: «Конечно, ЭТА!». То есть советского производства. И стал давать пробовать лучшее Пепси окружающим. Так что Хрущев был доволен своим ответом.

Фотографы щелкали со скоростью пулеметной очереди. Слоган Компании «Пепси» – «BE SOCIABLE» – «БУДЬ ОБЩИТЕЛЕН». Фото Хрущева, известного своей общительностью, пьющего Пепси, было лучшей рекламой напитку, компании и западному образу жизни, а это было одной из главных целей выставки в Москве.

Ричард Никсон был доволен результатами выставки и своей победой на «Кухонных дебатах»; победой, укрепившей его реноме на американском политическом рынке.

Хрущев, как известно, агрессивно отрицательно оценил итоги этой выставки, интуитивно чувствуя весь ее опасный и дискредитирующий советскую систему потенциал. Действительно, одуревшие от впечатлений посетители выставки не могли не задуматься, почему все эти Форды и Шевроле, не говоря уж о Кадиллаках, Линкольнах и Бьюиках так разительно отличаются от наших «Побед» и даже «Волг», недавно – в 1957 году – поступивших в продажу. А стиральные и посудомоечные машины, сенокосилки, телевизоры, по сравнению с которыми КВН-49 казался аппаратом XIX века. Косметика, туфли-шпильки, забитые полки с бакалейными товарами. «С моей точки зрения там не было ничего, что нам можно было бы практически использовать», – заявил Никита Сергеевич и был, по существу, прав. Советским людям ещё долго не понадобятся сенокосилки, бакалея и посудомоечные машины... Однако дело было сделано, фотография появилась. Она, пожалуй, была тем первым, еле осязаемым подземным толчком, предвещавшим неминуемый снос Берлинской стены.

Я на выставке, естественно, не был, Пепси не пробовал, в легенды о стиральных машинах не верил. Но разговоры, впечатления, суждения впитывал, как губка. Особенно много было рассказов о «Кухонных дебатах», которые якобы выиграл Никсон. Одно помню точно: о выставке, американцах, Америке говорили с недоумением, восторгом, осуждением, недоверием, симпатией, пренебрежением, завистью, но агрессивной враждебности не было. Даже во всевозможных политических передачах по радио, а затем и по телевизору, во всех заказных – весьма блядских репортажах всяческих Валентинов Зориных (Зорина называли «Зорька-помойка») или Юриев Жуковых Штаты вы глядели противником, оплотом империализма, агрессором, но зоологической ненависти, взращённой в отечественном сознании XXI века, не было. СССР и его руководители, при всех своих прелестях, ущемленным комплексом неполноценности не страдали. Как бы ни ворчал Хрущев по поводу той же выставки, как бы ни грозил ракетами во время Карибского кризиса, но щенка легендарной Стрелки, облетевшей в компании с Белкой вокруг Земли, – самочку по имени Пушкинка – подарил супруге Кеннеди Жаклин и их дочери Кэролайн. Подарил от чистого сердца безо всякого политического умысла. Ко всему прочему, у многих работала элементарная память о тушенке, спасшей жизни тысячам, в том числе моей маме, плюс примешивалась генетическая память, в которой не было места заложенной в веках ненависти, обиды, раздражения.

Что там не поделили Лещинские с Чарторыйскими, Нилусами, Огиньскими, Бог знает. Но – не поделили. Сложные у них были отношения. Шляхта. Все именитые, знатные, богатые. Все с гонором. И привыкли к демократии. Даже престол был выборным – выборная монархия, единственная в Европе да и, возможно, в мире. Эта демократия страну и погубила, не могла не погубить, особенно, ежели страну окружали матерые хищники.

... Часто задумывался, может, это слабость, беда, напасть – демократия. От века – и по сей день пасует демократия перед наглым, пусть и убогим диктатором, перед тоталитарным, хотя и гнилым, обреченным режимом. Задумывался недолго. Ибо глоток свободы – целительнее, нежели бадья насилия, рабства и беззакония. Вспомнились слова валютчика и махинатора Яна Рокотова: «Они меня расстреляют, больше они ничего не умеют (...), но хоть два года я пожил как человек, а не как тварь дрожащая!». Польшу растерзали – всерьез и надолго, но и прожила она – более, нежели два года, – не как тварь дрожащая, а как Великая Европейская

держава – Речь Посполита, что означает буквально – *res publica* – времен Стефана Батория, Сигизмунда III и Яна Казимира Ваза или Яна III Собеского... Достоинно прожила. И первая в Европе (вторая в мире после США) выработала и приняла конституцию современного демократического типа (это было уже при последнем короле Станиславе Августе Понятовском в 1791 году).

Jeszcze Polska nie zginęła! Чуден свободы дух!

Как ни относишься к Кондратию Рылееву (а я к нему отношусь с неприязнью – помимо всего прочего, личные счеты), но слова его, сказанные на Сенатский площади, под картечью: «*Господа, мы дышим свободой!*» – эти слова прекрасны. Ради такого глотка можно и под картечь.

– Какое из ощущений в жизни является для вас особенно дорогим? – вопрос корреспондента.

– *Ощущение свободы*, – ответ Владимира Атлантова, которого люблю не только за этот ответ. Но и за него в особенности.

...Чарторыйские с Потоцкими, Сапеги с Радзивилами, Понятовские с Замойскими, Лещинские – со всеми остальными – все что-то делили, враждовали, воевали. Каждый тянул в свою сторону – кто в сторону Франции, кто в сторону Пруссии, кто – Австрии, кто – России. И великие державы Европы – каждая по-своему: кто ласками, кто сказками, кто деньгами – что вернее, кто (все, как правило) войсками – что привычнее (Россия в особенности) – и примагничивали влиятельные княжеские фамилии, представителей великопольских шляхетских родов, стараясь повлиять на демократический выбор кандидатов польского шляхетства на престол, воеводство, гетманство, канцлерство, подканцлерство.

К примеру, Чарторыйские – Гедиминовичи – при Августе III враждовали в борьбе за власть и за престол с Потоцкими. Последние тяготели к Франции и поддерживались ею, Швецией, Турцией и основной шляхетской массой. Чарторыйские же – Фридрих-Михаил – подканцлер, а затем канцлер литовский, и его брат – Август-Александр, женатый на наследнице магнатов Сенявских – стремились найти – и находили – помощь со стороны Англии, Австрии и, особенно, России. Естественно: княжна Чарторыйская была женой последнего польского короля, ставленника Екатерины Второй – Станислава II Августа Понятовского, а Адам Ежи Чарторыйский позже стал сердечным другом цесаревича Александра Павловича, а ещё позже – был пару лет министром иностранных дел Российской Империи (что не помешало ему впоследствии возглавить антирусское освободительное движение, а с декабря 1830 года стать Председателем Временного, а затем Национального правительства Польши). После разгрома восстания жил в Париже, консолидируя вокруг себя антирусскую эмиграцию. Во время Крымской кампании покровительствовал созданию польских военных формирований в Турции.

Или Ян Собеский конкурировал на выборах с Михаилом Вишневецким. Последний был креатурой Габсбургов, Ян Собеский, женатый на француженке – вдове Яна Младшего Замойского – Марысенке Замойской (ур. Марии Казимире д'Арквин), прибывшей в Польшу в свите французской королевы Марии Людовики, был, естественно, другом Франции. Благодаря поддержке французской короны (а Людовик XIV был самым могущественным властителем в Европе), Собеский стал польным коронным гетманом (заместителем командующего польской армией), а затем великим гетманом. Однако выборы выиграл Вишневецкий – Император Священной Римской империи оказал большую финансовую поддержку выборщикам. Собеский стал королем после смерти Вишневецкого, получив предельно большую помощь из Парижа (Марысенка постаралась!) в обмен на заключение франко-шведско-польского союза против Габсбургов.

И так далее.

Станислав Лещинский – представитель мощного клана Лещинских и богатейших магнатов Яблоновских – изначально тянулся к Швеции. Будучи ещё познанским воеводой, после поражений Августа Второго, понесенных от Карла XII, был направлен Варшавской конфеде-

рацией в Швецию с дипломатической миссией, во время которой окончательно закрепил свои приоритеты. В 1704 году Лещинский был избран Королем Речи Посполитой. Началась гражданская война: часть шляхты пошла за Лещинским, часть осталась верна Августу Второму. Лишь через два года Карл принудил Августа отказаться от престола в пользу Станислава – теперь уже полноправного короля Польши и Великого князя Литовского. Однако это не снизило накала страстей противоборствующих партий. Тем более что в 1709 году случилась Полтавская битва, и Лещинский эмигрировал во Францию. Чаши весов переместились, но взаимная ненависть внутри шляхты лишь обострилась. После смерти в 1733 году своего врага – Августа Сильного, вторично пришедшего к власти в 1709 году, Потоцкие предложили Сейму кандидатуру Станислава Лещинского. Лещинский – в то время уже зять Людовика XV – срочно вернулся в Польшу. К этому времени Примас Польши – архиепископ Гнезно Теодор Анжей Потоцкий провел через конвокационный (избирательный) сейм закон, по которому польским королем отныне мог стать только католик и только поляк. Поддерживаемый большинством шляхтичей и сенаторами, Лещинский был вторично избран королем Польши на рыцарском Коле 1 сентября 1733 года. Это были последние свободные выборы польского короля. На огромном поле шестьдесят тысяч вооруженных всадников в блестящих доспехах, на прекрасных конях, ликуя и потрясая выхваченными из ножен саблями, провозгласили Лещинского своим королем. *«Примас произнес: “Так как Царю царей было угодно, чтобы все голоса единодушно были за Станислава Лещинского, я провозглашаю его королем Польским, великим князем Литовским и государем всех областей, принадлежащих этому королевству!”»*. Несколько сенаторов и четыре тысячи всадников откололись и ушли за Вислу, в Прагу, дожидаться русских. Среди них были Огиньские и Чарторыйские (не жалел ли об этом через много лет Адам Чарторыйский, возглавляя Польское сопротивление в изгнании...). Далее все шло по накатанному и прогнозируемому шаблону. Русские войска под командованием фельдмаршала Ласси вошли в Польшу. Не в первый и не в последний раз предлогом было желание *«по просьбе дружественной конфедерации»* (то есть изменников, которые всегда находились и найдутся) *«защитить польскую конституцию»* («конституционный строй», «суверенитет», «демократию», «территориальную целостность», «принудить к миру» – эти и прочие слова были придуманы позже). Войска вошли не в первый раз – скажем, совсем недавно, в 1697 году, корпус М. Ромодановского перешел русско-польскую границу, чтобы помочь поляками выбрать нужного России короля – тогда Августа Второго, но никак не принца Конде. Такой принцип бытия Империи – *influence legitime* (законное вмешательство) – был и остается основополагающим. Иначе не умеем, и ничего в России не меняется. *Influence legitime* с приобретением новых врагов по периметру и по окружности. Новинкой тогда было то, что ранее войска вводили *перед* выбором или престолонаследием, чтобы оказать интернациональную помощь несмышленным европейцам (азиатам и др.). В 1734 году ситуация кардинально изменилась. Король *был уже* избран. Законно, легитимно, справедливо. Но нет трудностей, которые не преодолели бы... Война была кровопролитной, жестокой. На помощь Ласси прислали фельдмаршала Миниха. *«Патронов не жалели»*. *«...В то же время, как ещё житницы горели, случилось, что один гренадер вышедшего из оных старого седого стрелка прижмнутым штыком подхватил и его многократно так жестоко колот, что весь штык изогнулся, однако он его нисколько повредить не мог, чего ради он своего офицера призвал, который того сперва по голове несколько раз палашом рубил, а потом в ребра колот, однако ж и тот его умертвить не мог, пока напоследок казаки большими дубинами голову ему так разрубили, что из оной мозг вышел, но он и тут долго жив был»*. Потом удивляются, почему поляки русских не очень любят.

На престол посадили Августа Третьего – саксонского курфюрста. Станиславу Лещинскому, отрекшемуся от престола, решением Венского конгресса 1738 года оставили пожизненный титул короля. Вдобавок он стал последним герцогом Лотарингии. История покатила дальше.

Канули в Лету всемогущество Потоцких, Замоиских, Вишневецких, ушел с исторической арены последний король Речи Посполитой Понятовский, Чарторыйские перебрались в Россию и пока верно служили молодому Императору, Суворов и Паскевич по очереди заливали кровью родину Мицкевича и Шопена, умер Костюшко, Польшу три раза дербанили – раздербанили, уже прогремели все грозы «корсиканского людоеда», даже ошеломляющие своей фантастической уникальностью «100 Дней», уже семнадцатилетняя Наталья Потоцкая влюбилась в тридцатисемилетнего Михаила Лунина, и он потерял голову – единственный раз в жизни – это была удивительная, невероятная любовь, обреченный роман – девушка из королевского рода и обедневший тамбовский дворянин, хотя и блистательный офицер – гордость Наместника; уже все увлеклись полонезом Михаила Клеофаса Огинского, прославившего свою фамилию, уже Наталья Потоцкая, выданная за князя Сангушко, умерла в 23 года, а Лунина перевели из Читинского острога в Петровский завод, и он ещё не знал, что его ждет ад Акатуя, уже мой сосед и тезка был отдан в Первый Кадетский корпус, а затем выпущен подпоручиком, успел стяжать славу героя 12-го года, жениться и потерять жену, которую любил без памяти, уже Пушкин закончил «Онегина» и частенько навещал Смирнову-Россет в доме по соседству со мной, хотя душевной близости, как утверждала дочь Александры Осиповны, не было и в помине. Ушла из жизни хозяйка дома на углу Спасской улицы – Мария Богдановна Булатова, урожденная Нилус. Она тоже, кстати, семнадцатилетней влюбилась в своего будущего мужа – тридцатисемилетнего полковника Михаила Булатова. Шляхетские распри, казалось, давно забыты – другая жизнь стояла на дворе. Однако нет. Та старая ненависть, возможно, растаяла, но нескрытая неприязнь и скрытая враждебность, обогащенные различными бытовыми деталями, между Лещинскими, с одной стороны, и Чарторыйскими – Огинскими – Нилусами, с другой, остались.

Эта враждебность, эта ментальная несовместимость, это исторически устоявшееся противостояние семейных традиций и нравов – всё это явилось благодатной почвой для той *сшибки*, которая привела к жуткой гибели моего соседа.

«Сшибка» – термин, введенный академиком Иваном Павловым, означает столкновение противоположных импульсов, идущих из коры головного мозга. Или, точнее: столкновение процессов возбуждения и торможения. При таком столкновении кора головного мозга может перейти в свое патологическое состояние, то есть происходит срыв высшей нервной деятельности. Скажем, внутреннее побуждение заставляет человека поступить неким образом, но дисциплина или иной фактор заставляет его делать нечто противоположное. Это случается с каждым. Внутреннее побуждение – возбуждение, скажем, направляет меня за письменный стол писать роман, но жена говорит: не позорься, не лезь, куда не просят, рожей не вышел в писатели, лучше принеси пылесос – происходит торможение. Хочется выпить – возбуждение, безденежье – торможение. Эти бытовые сшибки, как правило, проходят безболезненно, лишь царапая сознание, нервную систему. Или – уже посерьезнее: любит, скажем, некий небездарный писатель или поэт творчество, к примеру, Пастернака или Ахматовой, не просто любит – влюблен, в хорошем подпитии читает их творения наизусть с восторгом и слезой, но выходит этот небесталаный или даже талантливый литератор-чиновник на трибуну и клеймит позором сих космополитов и ренегатов. Побуждение – истинное чувство литератора – «сшибается» с партийным или чиновничьим долгом, а чаще, попросту – со страхом, извечным российским ужасом перед властью. От таких сшибок некоторые стреляли себе в сердце. Так что при особом стечении обстоятельств и при экстраординарной силе противоположных импульсов подобная сшибка ведет к трагедии. Как в случае с моим тезкой.

А дом у него был чудный. Светло-жёлтый, трехэтажный, с портиком ионического ордера при шести белых колоннах и с пятью высокими, сверху овальными дверями. Порттик завершен треугольным фронтоном. На фасаде – лепные маски, скульптурные панно. По всей улице Рылеева – единственный с табличкой: «Охраняется государством как памятник архитектуры

начала XIX века». Что-то в этом духе. Хорошо охраняется: во время капитального ремонта в 70-х годах XX века все детали интерьера попятити.

Мария Богдановна Булатова дом этот, тот самый, который располагался прямо под окнами нашей комнаты в доме Мурузи, откупила у наследников известного врача Г. Соболевского. Даже не откупила, а недостроенный особняк напротив Спасо-Преображенского собора просто перешел в ее собственность, так как она была кредитором семьи полуразорившихся Соболевских. Удивительны судьбы скрещения. Дом Булатовых разместился на улице, через столетие названной именем того человека, который в десятых числах декабря – за несколько дней до возмущения на Сенатской площади – принял пасынка Марии Богдановны в члены тайного общества. Именно Кондратий Федорович Рылеев также дал рекомендацию – просто *кивнул*, и его друг детства и соученик по Первому кадетскому корпусу – Александр Булатов – стал членом общества. Кивнул, то есть, обрек.

Скажу честно, больших симпатий к своей соседке Марии Богдановне я не испытывал, хотя мне она ничего плохого не сделала. Вот к своему пасынку она относилась с плохо скрываемой неприязнью, делая жизнь мальчика – юноши скудной, нерадостной, порой тяжелой. И дело даже не в том, что юная генеральша Булатова была дамой чрезвычайно *великосветской*, принятой при дворе, *доверенной* приближенной вдовствующей императрицы Марии Федоровны; балы, приемы, аудиенции, прочие важные дела не оставляли ей времени на внимание к мальчику. Плюс в апреле 1802 года у Александра появился сводный брат – тоже Александр. Так что для старшего сына начальника Генерального штаба генерала-лейтенанта Михаила Леонтьевича Булатова места в сердце мачехи вообще не оставалось. Однако главная причина антипатии к пасынку была в другом. Мария Богдановна, урожденная Нилус, принадлежала к семействам, традиционно враждебным клану матери будущего декабриста. (Она была дочерью киевского генерал-губернатора, генерала-аншефа Богдана Нилуса). Тот самый случай: Лещинские – Чарторыйские и К°. Мать Александра Булатова – Софья Казимировна доводилась внучкой польскому королю Станиславу Лещинскому. Огиньские же, Чарторыйские, Нилусы, связанные между собой кровными и брачными узами, как и было сказано, столетиями враждовали с отпрысками некогда всесильного великопольского шляхетского рода королевской короны, связанного, к тому же, и с французским престолом: дочь короля Станислава – тетка Софьи Лещинской, матери Александра – была женой Людовика XV. Александр свою мать почти не помнил. Помнил польские слова, которым она его учила. Она умерла, когда ему было три года. Однако воспитывался он у своих родственников – в доме Карпинских – в клане Лещинских. В том же настрое и в тех же традициях. Свое начальное образование и основы воспитания он получил под руководством двоюродной бабушки – Ядвиги (Пелагеи после перехода в Православие) Станиславовны Карпинской, родной сестры Казимира Лещинского – сына короля Польши. В доме Карпинских на Литейном проспекте формировался юный Булатов в окружении гувернеров-французов. Свою двоюродную бабушку он обожал.

Так что мой сосед был королевских кровей. Да и по отцу он происходил от Симеона Бекбулатовича...

Рождение брата в 1802 году сказалось не только на судьбе моего соседа. Рождение второго Александра Булатова (пасынок генеральши Булатовой был назван Александром в честь Александра Македонского, его сводный младший брат – в честь Александра Первого – отсюда и восприемник) в какой-то степени – в минимальной, но не мифической – повлияло и на судьбу России. Знаменитое булатовское: «Сердце мне отказывало» – с тех крестин в церкви Петергофского дворца.

Я любил в детстве взирать на крышу и верхний этаж соседского дома. На крыше часто возились рабочие. Что-то постоянно латали, меняли кровлю, правили водосточные трубы, чистили печные и каминные дымоходы. Мне все время казалось, что кто-то может упасть. Слава Богу, не случилось. Крыша дома Булатовых была чуть ниже нашего четвертого этажа в

Доме Мурузи. Поэтому окна последнего этажа соседей были хорошо видны. Крайнее, угловое окно: кухня, типичная коммунальная кухня, замызганная, темная. Лампочка на скрюченном пыльном проводе без абажурчика. Деревянный столик или тумбочка невнятного фисташкового цвета, крашенные масляной краской вишневые облупившиеся доски пола, домохозяйки в серых несвежих халатах и с бигудями в волосах. Другое окно – жилая комната, занавеска обычно задернута. Третье окно – занавески нет. Видно кресло и часть книжных полок. Иногда к окну подходил старый мужчина, похожий на женщину или Плюшкина, и смотрел на улицу. На улице постоянно что-то копали. На втором этаже окна были высокие – барские. Под стариком с библиотекой и креслом жила некрасивая девушка. Она где-то в начале мая открывала окно, ставила патефон и заводила: «Раз пчела в теплый день весной», «Аутобос, червоний» или «Мой Вася». Возможно, в этой комнате с высокими окнами жили когда-то Сергей Петрович Боткин или Алексей Николаевич Плещеев, или Елизавета Алексеевна Нарышкина, урождённая княжна Куракина. А может, там была квартира Василия Ивановича Сурикова, только что переехавшего из Красноярска на учебу в Петербург. В 10-х годах XX столетия там жил Владимир Галактионович Короленко. Вот – истинно безупречная фигура русской истории, культуры. *«Идти не только рядом, но даже за этим парнем – весело!»* – писал Чехов. Бунин, не склонный что-то прощать или не замечать, Бунин, славившийся своим пронзительным взглядом и беспощадным языком: *«Когда жил Л. Н. Толстой, мне лично не страшно было за всё то, что творилось в русской литературе. Теперь я тоже никого и ничего не боюсь: ведь жив прекрасный, непорочный Владимир Галактионович Короленко»*. Я гордился тем, что жил на улице Короленко.

...И слушали они – Суриков и Короленко, Боткин и де Люмиан, Смирнова-Россет и все жильцы этого обыкновенного петербургского дома, мои соседи – дивный замысловатый перезвон, заполнявший площадь и все близлежащие улицы. Столько лет прошло – жизнь прошла, – а в ушах мелодия и ритм той колокольной вязи. Говорили, что этот уникальный – только *Собору Преображения Господня всей гвардии* свойственный – аккорд колоколни сохранился ещё с «допожарных» времен: со времен Пушкина, ещё холостого камер-юнкера Николая Смирнова, Прево де Люмиана – генерал-майора, Наместного Мастера Ложи *Соединенных друзей*, квартировавшего в правой части дома. Со счастливых времен начала семейной жизни Александра Булатова, женившегося в 1818 году – супротив воли отца и мачехи по всепоглощающей и взаимной любви – на шестнадцатилетней фрейлине вдовствующей императрицы Марии Федоровны Елизавете Мельниковой. Тогда были распространены ранние браки – ей шестнадцать, ему – двадцать пять. Долго прожить в доме на Спасской улице им не пришлось. Давний антагонизм с мачехой, усугубленный стремлением Марии Богдановны передать по наследству многомиллионное наследство мужа своим двум сыновьям, разрыв с отцом (к счастью, временный) вынудили молодых Булатовых переехать в другой дом генерал-лейтенанта Михаила Булатова, располагавшийся на Исаакиевской площади, № 7 – в тот знаменитый дом Грибоедова, Кюхельбекера, Одоевского...

Позже, в марте 1824 года перед отправкой в Сибирь, назначенный тамошним генерал-губернатором Булатов-отец, познакомившись с невесткой и двумя внучками – Пелагеей и Анной, – простил сына и переписал завещание. По новому варианту оно состояло из трех равных частей. Дом на Спасской улице достался Александру Булатову-старшему. Моему соседу. Однако въехать живым в этот дом ему уже не довелось.

В этой правой части дома генеральши Булатовой собиралось удивительное общество. Апартаменты Августа Прево де Люмиана были одним из мест встреч членов ложи. Ложа имела собственный храм в подzemелье Мальтийской капеллы Воронцовского дворца на Садовой улице. Однако ближе к 20-м годам неформальные встречи часто перемещались на Спасскую улицу. Традиционно – со времен французской *Les Amis Reunis* – славившаяся своими заговорщицкими наклонностями Ложа Соединенных Друзей привлекала и объединяла людей про-

тивоположных типов и взглядов. Воронцовский дворец или дом Булатовой заполняли люди, которых, по незнанию социального климата, нравственного и сословного состояния общества той эпохи, мы представить вместе не в силах. В гостиных де Люмиана встречались члены Ложи Великий князь Константин Павлович и Петр Чаадаев, герцог Александр Вюртембергский – тогда Губернатор Белоруссии – и Александр Грибоедов; министр полиции Александр Балашов и Александр Бенкендорф приветствовали только что принятого в ложу (1812 год) лучшего ученика Пажеского корпуса выпуска декабря 1811 года, юного прапорщика лейб-гвардии Литовского полка Павла Пестеля. Собственно, Пестель был принят Мастером Стула Оде-де-Сионом, который являлся инспектором классов в Пажеском корпусе, в нарушение правила о минимальном возрасте вступления в *ученики вольного каменщика* (25 лет). Будучи камерпажом, Пестель заявил о своем желании вступить в братство, и Мастер Стула сделал для него исключение.

Молодой Булатов вряд ли бывал на собраниях членов ложи, но не встречаться, не общаться с ними, не дружить он не мог, ибо с детства это был его круг, его мир, его родственные и духовные связи.

Всё – случай, случай. Не приди в голову Александру Первому сменить графа Аракчеева (ещё один мой сосед, помните) на посту начальника Генерального штаба генералом Михаилом Булатовым, который также наслаждался колокольным перезвоном нашего собора, то, возможно, жили бы мы в другой стране. Маловероятно – менталитет нации, как и Божий промысел, не переделаешь, – но и не невозможно. Маленькая песчинка, попавшая в створ мощного маховика истории, могла нарушить, скорректировать его, казалось бы, неумолимый ход. Аракчеев, естественно, затаил обиду – ревнив и мстителен был граф; в 1800 году он ещё полностью не завладел сердцем своего повелителя (в этом сердце ещё ютились Сперанский, Адам Чарторыйский, Кочубей), он лишь начинал свой трудный путь к достижению высокой цели, поэтому с особой остротой воспринимал любые поползновения возможных или, часто, как в данном случае, – мнимых конкурентов. То, что Аракчеев злопамятен, злобен и ненавидит его отца (ненависть была обоюдной), молодой Булатов по мере возмужания узнавал все более и более, подогревая свое отношение к всеильному временщику не всегда правдоподобными подробностями. Посему, узнав, что отец назначен генерал-губернатором Сибири, а это случилось в марте 1824 года, Александр-старший воспринял эту «ссылку» как результат клеветы и происков Аракчеева, и с ним случился «родимчик». Так его сослуживцы называли те припадки необузданного бешенства, которые овладевали им в тех случаях, когда он видел или слышал, как обижают беззащитного, творят явную несправедливость, совершают гнусность. Так, в самом начале своей карьеры – в 1811 году – выпущенный подпоручиком в лейб-гвардии гренадерский полк, восемнадцатилетний Булатов вошел в резкий конфликт с командиром батальона неким Желтухиным, отличавшимся особой, даже по аракеевским меркам, жестокостью по отношению и к младшим офицерам, и, особенно, к солдатам. Один эпизод едва не привел Булатова к каторге: видя неоправданную лютость командира батальона к солдату, ничем не провинившемуся, он впал в бешенство – случился «родимчик» – и едва не избил полковника. Вмешались сослуживцы, оттащили, а командующий полком генерал граф П. Строганов не дал делу хода, так как сочувствовал юному подпоручику.

Вот тогда – после «родимчика» от известия о переводе отца в Сибирь – и возникла, была высказана мысль, что «надо убирать Аракчеева» и, возможно, покуситься на жизнь царя. «Надо вступать в заговор!» – воскликнул, якобы, он, хотя заговора, как такового, ещё не было. «Родимчик» прошел, оставив, как всегда, чувство стыда за неконтролируемую вспышку бешенства, даже забылся. Но что-то запало, стало прорастать. Одним из главных жизненных правил его было «*всегда с охотой умереть для пользы отечества*». Заговор – ещё не существующий или ему ещё не известный, стал для него олицетворять «пользу отечества».

Случай... Не приди в голову Александру идея не только назначить генерала Михаила Булатова начальником Штаба, но и, по рекомендации Сената, «при Петергофском быть дворце кастеляном замка», не переехал бы в марте 1802 года мальчик – уже кадет первого года – вместе с отцом, гувернерами и камердинером – рязанским крепостным Николаем Родионовым, который был с Булатовым с первых дней его короткой жизни до ее последних часов – в Петергоф.

В Петергофе же в апреле 1802 года родился родной брат Булатова. Восприемниками от купели младшего брата будущего героя войны 12-го года были Император Александр Первый и вдовствующая Императрица Мария Федоровна. В церкви Петергофского дворца были все братья Романовы, великие княжны Анна, Екатерина, Мария, Александра, Елена, великая княгиня Анна Федоровна – супруга Константина. Все они подходили, поздравляли. Константин его обнял, приподняв, Александр облобызал, сказав, что быть кадетом Первого Кадетского корпуса – этой Рыцарской Академии – большая честь. Недаром соученики мальчика – принцы лучших европейских фамилий, дети аристократии России и Европы. Шестилетний Николай смотрел с восторгом – вскоре и ему идти в этот Кадетский корпус, и девятилетний Булатов в кадетской форме казался ему героем. Михаилу стукнуло четыре года. Княжны были милы, приветливы, заботливы. Всё было ласково, по-семейному. И девятилетний Александр чувствовал себя членом этой семьи, пусть подданным, но единокровным ее членом.

Вообще-то, в те славные самодержавные времена еще ощущалась некая аморфная, слабовыраженная, но искренняя, не надуманная семейная связь между Императорским домом и его *чадами*. *Чада* не только в светском смысле – *«подданные»*, но и *духовные* дети. Наполеон как-то сказал Александру: «Вы одновременно император и Папа. Это очень удобно». Это было удобно, но это было *и* естественно. Связь пастыря и паствы ощущалась особенно в столице. Особенно с аристократией и высшим дворянством. Члены императорской фамилии были ещё одними «из них», первыми, но одними из... И *чада их* не чувствовали непреодолимой преграды между ними и Двором.

Именно поэтому Николай писал умирающему Пушкину: *«Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе моё прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки»*. И взял. Заплатил долги, очистил от долга заложенное Пушкиным отцовское имение, платил пенсии вдове и дочери до замужества, определил сыновей в пажи и выделил по 1500 рублей на воспитание каждого по вступлению на службу, приказал издать сочинения за казенный счет в пользу вдовы и детей, выдал вдове единовременно 10 000 рублей (десять тысяч). Потому что – Пушкин. Но и потому, что чада.

Именно поэтому мой дядя – брат моего отца, да и сам папа, наверное (он не любил на эту тему распространяться), играл, катался на санках с наследником престола – несчастным царевичем Алексеем в Царском селе, где мой дед – Александр Павлович – по условиям службы, будучи секретарем Комитета «Дома призрения инвалидов и увечных воинов», во главе которого стояла Императрица Александра Федоровна, имел казенный дом. Дядя даже был «игрушечным» адъютантом царевича, дружил с великими князьями, особенно с Анастасией. Это – дружба с Наследником – было явлением естественным, никак не экстраординарным.

Именно поэтому после провала Сенатского дела многие бунтовщики с повинной головой шли в Зимний – без препятствий. Булатов также в полной парадной форме, при орденах и шпаге явился во дворец, доложил коменданту П. Я. Башутскому, отдал ему шпагу и беспрепятственно вошел в покои. Великий князь Михаил Павлович подошел: «Что вам угодно?» – с Булатовым он был на «ты», они дружили ещё с тех крестин, затем близко соприкасались по службе; уже в крепости Михаил навещал обреченного Булатова, они писали друг другу письма, – но в тот момент так – на «вы», любезно и холодно – Михаил обращался со всеми приходившими во дворец заговорщиками. «Имею нужду говорить с Государем!» – лицо Булатова было страшно, искривлено, будто неуклюже склеено из двух половинок. Навстречу

вышел улыбающийся Николай Павлович: «Как, и ты здесь?!» – «Я преступник, вели арестовать, расстрелять...» Вдруг почувствовал, что Государь его обнимает, целует, благодарит, называет «товарищем», вспоминая совместную службу в гвардейской дивизии. (Так – с любезностью – Николай встречал многих явившихся заговорщиков, но их тотчас обыскивали, вязали веревками, набивали кандалы и отправляли в Петропавловку – у новоиспеченного царя была своя метода ведения следствия.) Булатова сия чаша – веревки и кандалы – миновала. Действительно, его с Романовыми связывали особые узы, хотя каземата он не избежал.

Именно поэтому – по ощущению родственной связи – двенадцатилетний Петр Второй со всеми тушил страшный пожар августа 1727 года в Петербурге, со слезами бросаясь в самые опасные места; помочь он ничем не мог, но и не мог не быть вместе с этими «своими чадами».

Именно поэтому Николай примчался из Петергофа во время пожара 8-го июня 1832 года, дабы утешать и успокаивать погорельцев (тогда сгорело 102 каменных и 66 деревянных домов). Это был не *пиар*, как принято говорить ныне на странном нерусском языке. (*Пиар* Николаю обеспечивали верные *пиаришки* – Бенкендорф, Дубельт, Орлов и все другие чины Жандармского отделения.) Это было побуждение, порыв, нравственный долг весьма даже не нравственного представителя рода Романовых.

Именно поэтому Государь Александр Второй вышел в тот первый воскресный день – 1-го марта 1881 года – из кареты к раненым: мастеровому мальчику и казаку конвоя. «Как вы, братцы?». Карету надо было гнать ко дворцу. Так поступил бы Ф. Ф. Трепов – это было прямой обязанностью градоначальника, сопровождавшего царя. Трепов не дал бы выйти из кареты Государю и приказал бы кучеру Любушкину хлестать коней сразу же, как раздался взрыв бомбы, брошенной Николаем Рысаковым по знаку Софьи Перовской. Александр же Елпидифорович Зуров, сменивший Трепова, оплошал: воспротивиться властному движению руки Александра не смог. Александр же не мог не поспешить к пострадавшим – «своим чадам». Это был естественный порыв. «Хорош!» – брезгливо бросил он в сторону Рысакова, подведенного к нему, и повернул к карете. В то время, как он уже отходил от раненых, Игнатий Гриневицкий, подойдя вплотную, бросил второй снаряд. Когда рассеялся дым, увидели лежащего в кроваво-слякотной жиже царя, без шинели – ее унесло взрывной волной, кругом валялись куски мяса, ноги были раздроблены, фактически оторваны; его успели перевезти во дворец, где Александр и скончался, не приходя в сознание.

...Представить, что безразмерный кортеж правителей другой России – Советской или нынешней, «новосоветской», останавливается, дабы не сбить замешкавшуюся старушку или подойти и помочь ребенку, попавшему под колеса черного лимузина, – невозможно. Да и представлять не надо. Не останавливались и не остановятся. Ибо уже не пастыри в этих кортежах-колесницах, а оккупанты: сначала – комиссары, затем – вертухаи. Прервалась связь времен. Тоненькая пуповина, соединявшая верхи и низы – вместе со связью времен.

...Что это было: возбуждение или торможение – Бог весть. Однако несомненно: импульсы, диктовавшие поступки, действия, мысли Александра Булатова были порой диаметрально противоположны. Поэтика вольнолюбия, горделивая осанка польского шляхтича, впитанная с молоком матери, и воспитанная в семье Карпинских – клане Лещинских, ставившаяся – «сшибалась» – с культом патриотизма, служения России, привитым в Кадетском корпусе, окружением и традиционной культурой отца – взглядами воина, выстрадавшими при Шевардино и Семеновских флешах, Люцене, штурме Парижа. Эта сшибка мечты – легенды о самостийной блестящей Польше – с идеалом единой и великой Родины, которой он служил с беспримерным героизмом, не была фатальной. Она лишь подготовила, взрыхлила почву для рокового срыва его психики.

Главная же – трагическая – «сшибка» заключалась в другом.

«Честь – Польза – Россия», – этими словами заключил свою записку К. Рылеев от 12 декабря, в которой сообщал Булатову об отречении Константина. Слова – пароль. Слова –

смысл их жизни. Рылеев помнил и понимал своего старинного приятеля, с которым близко сошелся ещё в Корпусе; Рылеев был на два года младше своего товарища и во многом шел по его стопам. Он прекрасно знал, что значат эти слова для Булатова, – как и для него самого. Оба могли за них жизнь отдать. И отдали. Только прочитывали и толковали они их по-разному. Для Рылеева они имели одно-единственное наполнение и единственный способ их воплощения. Для Булатова понятия чести и долга перед Родиной были многомерны, неоднозначны, их толкования часто антагонистичны. Пути воплощения, естественно, разнонаправлены.

*Здесь утра трудны и туманны,
И всё во льду, и всё молчит.
Но свет торжественный и бранный
В тревожном воздухе сквозит.*

*Но сердце знает: в доле знойной,
В далёком, новом бытии
Мы будем помнить, город стройный,
Виденья вещице твои*

*И нам светивший, в жизни бедной,
Как память ветхая слепцов,
В небесном дыме факел бледный
Над смутным берегом дворцов.*

Апрель всегда был сырой, серый, теплый. Галки кричали на ещё голых ветвях влажных деревьев. Они осваивали подзаброшенные и промерзшие за зиму квартиры, выясняя, кто где жил. Великопостный благовест – три редких, гулких, протяжных истаивающих удара большого, но меньшего – «седмичного» – колокола плыл над площадью. Следующие мерные колокольные удары распугивали птиц, россыпью покрывавших окрестные до рожки, лужайки, колонны и притвор Храма, тротуары Преображенской площади, цепи ограды, соединяющие 102 ствола поставленных дулом вниз трофейных турецких пушек, взятых в кампанию 1828–1829 годов в сражениях под Исмаилом, Варной, Силистрией и под Кулевчи. Нищие, убогие, инвалиды: безногие на колясках, обрубленные до тазобедренного сустава – на самодельных таратайках с шарикоподшипниками вместо колесиков – сидели рядами по обе стороны аллеи, ведущей от главных ворот к ступеням Храма. Им подавали. Иногда мелочь, но чаще – краюху хлеба, яблоко, горсть изюма, луковицу. Было тихо, покойно, благоговейно. «Спаси вас Господь».

Я стоял у аналоя при правом клиросе Собора. Образ *Спас Нерукотворный*, писанный Симоном Ушаковым, всматривался в меня, не отпускал, исповедовал. Этот Спас был с Петром при закладке Петербурга, был с ним при Полтаве, при кончине его и при отпевании его. Никогда не любил и не чтит Петра – Антихриста, но образ *Спас Нерукотворный* притягивал, отпугивал, озадачивал. *Тем благодарственно вопием Ти: радости исполни еси вся Спасе наш, пришедши спасти мир.*

Почки набухали. Снег уже сошел, но трава ещё не пробилась. Дети облипли трофейные пушки, цепи. Ручьи устремились к люкам, бумажные кораблики суетились в водоворотах этих ручейков, крыши домов блистали, радуясь освобождению от серого снега, небо смутно отражалось в них. Ленинград просыпался. Мама доставала швейную машинку «*Зингер*» и начинала готовиться к летнему сезону. Здить-гу-гу, дзидь-гу-гу...

А тут и шарахнуло. Вернее, шарахнуло чуть раньше – 18 марта и не в Питере, а в Москве. Но и Ленинград трясло. Трясло всю Страну Советов. Вдобавок ещё – всю Америку. Такого никогда не было и никогда не будет. Не может этого быть. Не может быть, чтобы толпы людей

выстраивались (добровольно, в радостном возбуждении!) на улицах для встречи не космонавта, впервые полетевшего в космос, а молодого пианиста: так, в честь этого юноши на Бродвее устроили парад, на который вышли более 100 тысяч человек. День его победы в Америке назвали Днем Музыки – бывало ли такое досель в стране Рахманинова или Армстронга, Горовица или Пресли, Артура Рубинштейна или великой Эллы, Яши Хейфица или Стравинского?! Не может быть, чтобы президент великой страны – в данном случае, Дуайт Эйзенхауэр – отложил спешные дела, дабы лично поприветствовать того же пианиста, а лидер – диктатор другой великой державы – в данном случае, Никита Хрущев, – свое драгоценное время посвящал заботе о том, хорошо ли накормлен этот пианист («Он вел себя просто, как папа, пытался накормить: “А то ты, Ваня, слишком худой!”» – это пианист о Хрущеве). Имя досель неизвестного музыканта знала буквально вся страна, не случайно в фильмах последующих эпох, как узнаваемый знак того – давно ушедшего времени – показывали («Москва слезам не верит», «Пять вечеров») или упоминали («Операция “Ы” и другие приключения Шурика») Вана Клиберна. Если показали бы записи выступлений гениальных Гленна Гульда или Артура Рубинштейна, эта «метка» не сработала бы: страна (кроме профессионалов и меломанов) их не знала «в лицо», их игра ничего никому не говорила. Ванюшу обожали все. От главы государства до семнадцатилетней девочки. («Дорогой Ван! /.../ Впервые в жизни, хотя мне 17 лет, я плакала, слушая музыку. /.../ Вы открыли мне глаза, и я поняла, что жизнь – это прекрасно /.../ Я не могу больше писать. Спасибо, спасибо», – письмо хранится в архиве Дома-музея Чайковского в Клину.)

Известно, что Хрущев ринулся за кулисы после заключительного концерта конкурса 14 апреля и озадачил Клиберна вопросом: «Дрожжами, что ли, вас откармливают в Америке?!». Переводчику пришлось объяснять, что имеется в виду высокий рост пианиста, – Клиберн успокоился. С этой минуты Хрущев и Клиберн были накрепко повязаны искренней взаимной симпатией. На любом приеме Хрущев был рядом с Клиберном. На банкете в честь королевы Бельгии Елизаветы, прибывшей на третий тур конкурса, Хрущев обратился к пианисту: «Какой же ты высокий, Ваня!». Виктор Суходрев перевел. «Мой папа верит в пользу витаминов». – «Да, я тоже принимаю витамины», – немедленно прореагировал Хрущев. «И все рассмеялись. Он был хоть представительный, но не очень высокий. Потом мы начали общаться на музыкальные темы, и Никита Сергеевич очень удивил меня своими познаниями и тонким вкусом. В один из моих гастрольных приездов он даже пришел на мой концерт, и я специально для него исполнил *Фантазию фа-минор Шопена*». (Воспоминание Клиберна).

Старик Александр Борисович Гольденвейзер, пробираясь к выходу после выступления Клиберна, восклицал в некоем исступлении: «Молодой Рахманинов! Молодой Рахманинов!» – и был в данном случае абсолютно прав.

Короче – сумасшествие. На всех возрастных, социальных и профессиональных уровнях. От Г. Г. Нейгауза до безвестной колхозницы из-под Краснодара. «Ванюша, дорогой! Оставайся в Москве, в СССР! Неужели бы мы вас здесь меньше ценили, любили бы!?» (Эта записка хранилась в архиве Харви Лейвена (Вэна) Клайберна. Пианист ею очень дорожил!) Кстати, значительно позже, в 1999 году, когда Сергей Никитович Хрущев, преподававший в Брауновском Университете (США), назвал Клиберна правильно – *Клайберн* – тот замахал руками (в притворном, думаю, ужасе) и воскликнул: «Для русских я Ван Клиберн, всегда – *Клиберн*».

Тот памятный всем конкурс Чайковского был подобен первому весеннему месяцу. Было непонятно: ещё ночь или уже светает. Оказалось – полыхнуло. Полыхнуло и погасло.

Ко второй половине 50-х кремлевским сидельцам стало ясно, что дальше жить в абсолютной изоляции невозможно. Железную заслонку, конечно, демонтировать нельзя ни в коем случае: повешенные венгерские товарищи по партии наглядно показали это. Но и жить в абсолютной духоте тоже немислимо. Людишки, особенно молодые, могли и самостоятельно задышать: всякие стилиги и прочая плесень демонстрировали тенденцию. Посему решили приоткрыть

форточку. И начали делать это с размахом: не столько качественно, сколько количественно. Тем более что новый вождь удержу не знал. Всё и сразу: кукурузу – так от Потти до Норильска, Пятилетку – в три года, догнать Америку – в два прыжка, коммунизм – извольте подать к 1980-му. Идеология – на все вкусы: Фестиваль молодежи и студентов (1957) – отдушина для широких молодежных масс; Первый Международный кинофестиваль (1959) – для столичных жителей разных возрастов; интеллигенцию решили накормить Чайковским, тем более, что антисоветских взглядов покойник не высказывал.

Подготовка шла с дальних подступов. Начали с 55 тысяч долгоиграющих дисков с десятками произведений классика; Житомирский, Ярустовский, Домбаев, Николаев, Раабен и многие другие, менее именитые и титулованные музыковеды, одарили нас трудами о жизни и творчестве жителя города Клина; Московская филармония анонсировала солидные циклы симфонических концертов с участием великих или почти великих Натана Рахлина и Константина Иванова, Бориса Хайкина и Евгения Светланова, Мстислава Ростроповича и Даниила Шафрана, Владимира Ашкенази и Евгения Малинина, Святослава Рихтера и Льва Оборина, etc. В Домах и Дворцах Культуры, в Больших и малых театрах, в клубах и на открытых площадках (кои по такому случаю расконсервировали на пару месяцев раньше срока) косяком пошли оперы, балеты, лекции-концерты, «сборники» и прочие увеселения с музыкой автора «Лебединого». Народ запел Чайковского. Всякие Брамсы и прочие Моцарты попрятались подальше от греха: коммунисты указали перстом на гения страны Советов, под ногами лучше было не мешаться – затопчут.

Надо отметить, распорядители бала не скупились. Впервые в мировой истории музыкальных ристалищ всё содержание участников конкурса во время пребывания на территории СССР взяло на себя правительство. Все победители (пианисты и скрипачи – по 8 лауреатов) получали премии в размере от 5 до 25 тысяч рублей. Это были большие деньги по тем временам. Правда, иноземцы не предполагали, что при выезде из страны их обдерут налогами и другими поборами, но это уже детали: иностранцам в принципе важен был престиж и мотивация для получения долгосрочных контрактов, а не деревянные.

Ванюша Клиберн за гонорами, контрактами, призами и славой не гнался. Узнав о предстоящем конкурсе и по настоянию своего педагога Розины Левиной (которая, в свою очередь, прослышала о нем от ленинградца Павла Серебрякова – бывшего и будущего ректора нашей Консерватории, с которым пересеклась где-то в Южной Америке) начав к нему готовиться (занимаясь по 10 часов в день), никакими победными иллюзиями он себя не тешил. Постоянных контрактов он не имел, хотя уже был победителем престижнейшего конкурса им. Левентритта, импресарио о нем забыли, карьера концертирующего пианиста казалась все сомнительнее. Идея ехать в Москву привлекла его именно туристической мотивацией, плюс настоятельные советы и Левиной, и Александра Грейнера – импресарио фирмы «Стейнвей», на роялях которой Клиберн играл. Реклама (не пианиста, а фортепианной фирмы) – великая сила! Левина выбила для своего ученика именную стипендию в Рокфеллеровском фонде, и он поехал. В Москву. Посмотреть на Красную площадь.

«Мое первое “воспоминание” о Москве появилось в детстве. Родители подарили мне иллюстрированную “Всемирную историю”, и я увидел фотографии Кремля и собор Василия Блаженного». – «И вы использовали конкурс Чайковского для того, чтобы сходить на Красную площадь?» – «Да, я так и собирался поступить». Клиберн, при всей своей наивности, переходящей в инфантилизм (именно благодаря этим качествам он стал любимцем советских людей), четко знал, что ничего особенного на конкурсе ему не светит. Пройти далее первого тура он не рассчитывал. *«Я прекрасно понимал, что у американца в Советском Союзе шансы на победу сведены к нулю (прекрасная репутация у страны!), и конкурс организовывается, чтобы доказать превосходство советской исполнительской школы (так оно, собственно, и было!)».* Поэтому, прибыв в Москву на самолете ТУ-104 (что его восхитило, как ребенка: в Штатах

реактивных пассажирских самолетов тогда не было), он первым делом попросил «милую женщину» из Министерства культуры, встречавшую пианиста, отвезти его на Красную площадь к собору Василия Блаженного. *«Когда я оказался на Красной площади, я почувствовал, что у меня вот-вот остановится сердце от волнения. Главная цель моего путешествия была уже достигнута».*

Выступление Клиберна на конкурсе обросло легендами. Так, устоялось, что триумф начался уже на первом туре (Клиберн не открывал тур, как принято считать, а играл пятнадцатым): «Большой зал устроил овацию на несколько минут и скандировал: “Первая премия”. Жюри конкурса и все его члены аплодировали стоя». Не знаю, не присутствовал. Однако знаю другое: во второй тур Клиберн вошел в первой тройке (вместе с великолепным Лю Ши-Кунем) и был очевидным, но не безусловным фаворитом – «одним из». (У него были высокие баллы: максимальный бал вывел ему С. Рихтер – 25, Гилельс и Кабалевский – по 24.) Однако в первом туре не играли, по условиям конкурса, золотые победители других международных соревнований, так что во второй тур влились уже хорошо известные Лев Власенко, Алексей Скваронский, Роже Бутри (Франция), Наум Штаркман, Даниэл Поллак и Жером Ловенталь (оба – США).

Надо сказать, что первые четыре-пять конкурсов Чайковского имели максимально безупречную профессиональную репутацию. На него пытались пробиться лучшие музыканты «новой волны». Жюри было самой высокой пробы. Четыре раза его возглавлял великий пианист XX века Эмиль Гилельс. В состав жюри первого конкурса – «клиберновского» – входили такие гиганты, как сэр Артур Блосс (Англия), Камарго Гуарниэри (Бразилия), Маргарита Лонг (не только выдающаяся пианистка, но и основатель и патронесса одного из двух самых престижных конкурсов мира – имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже), Карло Цекки (Италия), Жозе Сикейра-Коста (Португалия), Панчо Владигеров (Болгария) и другие – цвет музыкально-исполнительского искусства XX века. И, конечно, отечественные гиганты: С. Рихтер (это была его единственная попытка быть участником «судейской коллегии»), Л. Оборин, Г. Нейгауз и другие. При всей именитости членов жюри, разброс мнений (особенно у наших соотечественников!) был феноменальный. Это касалось оценок советских исполнителей: здесь работали критерии личных пристрастий и межклановых противостояний отечественных школ, которые представляли «наши» судьи. Так, превосходный ленинградский пианист Александр Ихарев – ученик Моисея Яковлевича Хальфина – получил у Гилельса, Оборина и Кабалевского очень высокие 23 балла, Рихтер же поставил 19, Нейгауз – единицу (!). Если оценки радикального Рихтера были объяснимы его активными симпатиями к некоторым исполнителям, прежде всего, к Клиберну, и – за ним – к Лю Ши-Куню – уникальному китайскому музыканту – и, соответственно, отторжением всех иных, то демонстрация Генриха Нейгауза поразила абсолютно всех – здесь было нечто внемузыкальное, личное, возможно, мстительное. (Вообще-то по нормам тогдашнего существования само вхождение ленинградского пианиста в финал *такого* конкурса, тем более, во второй тур, можно было считать чудом. Тем знаменательнее и сенсационнее оказался Третий конкурс им. Чайковского!) Во втором туре блистательно выступил Лев Власенко, покорила аудиторию и жюри си-минорной сонатой Листа. Всеобщим любимцем стал Лю Ши-Кунь, получивший у скупого на оценки, обособленного и непредсказуемого Рихтера аж 24 балла (Рихтер в те дни был влюблен в игру Клиберна, однако вскоре повальное преклонение перед юным американцем стало приводить его в ревнивое бешенство), у Оборина и Кабалевского – 23. К последнему решающему туру Клиберн подошел третьим номером: первым был Власенко с 411 баллами (средний бал – 24, 18) – бесспорный лидер гонки, вторым – Лю Ши-Кунь с 404 баллами (23, 75) и Ван Клиберн – 393 (23, 12), столько же – у Наума Штаркмана. А затем был третий тур, на котором произошло то, что произошло.

Это было потрясением. На предыдущих этапах никому не известный американец, действительно, покорял, очаровывал массовую аудиторию – знающую, профессионально слыша-

щую, придиричиво оценивающую и *опытную*, воспитанную на высочайших эталонах русского исполнительства XX века – Рихтера и Оборина, Флиера и Гилельса, великих Юдиной и Софроницкого – не только и не столько своим мастерством, хотя это мастерство было самого высокого уровня, и не столько бесспорным и ярким, свежим дарованием, но и – в большей степени «и» – своим застенчивым обаянием, тем, что называется ныне *харизмой*, неожиданной и не ожидаемой от американца открытостью, деликатностью, простотой. В финале же был шок. Клиберн играл гениально.

Николай Петров – выдающийся пианист и музыкант, первый, кстати, победитель Первого конкурса им. Вана Клиберна в Форт-Уэрте; конкурса, учрежденного Клиберном и входящим в первую пятерку самых престижных конкурсов мира, – как-то сказал: «Пианист и музыкант – совершенно разные понятия». По этому поводу корреспондент однажды спросил Клиберна: «О вас часто говорят, что вы – превосходный пианист. Стали ли вы гениальным музыкантом?» – «Я, – ответил пианист, – *был гениальным только в течение получаса один раз в жизни – на конкурсе Чайковского в 1958 году. В тот момент я реально ощутил: на меня снизошло Господне вдохновение. Я играл так, как не играл больше никогда в жизни*». Это – не фигура речи. Клиберн – глубоко верующий христианин (он был баптист) – изрек истину.

Лев Власенко – не только превосходный музыкант, чью заслуженную мировую славу неумышленно отеснил Клиберн, но и умный человек – впоследствии писал: «В то время мы в СССР были в стилистическом отношении очень строги, и эта строгость приводила к пуризму. И тут появился Клиберн; он играл свободно, с широкой фразой, в манере *bel canto*, характерной для старой русской школы. /.../ Шестифутовый долговязый мальчик, открытый, с романтической манерой игры поразил публику, – аудитория была с ним». Здесь всё точно: и «мальчик», и манера «старой русской школы», и «пуризм» отечественной – советской «методы» преподавания и исполнения «классики»: «шаг влево – шаг вправо...» И потребность аудитории – всех нас – быть с ним. Но не только аудитории, но и – главное – профессионалов из жюри, члены которого забыли о своих клановых интересах, патриотическом долге – все советские судьи безоговорочно отдали «золото» этому долговязому шестифутовому парню.

Впрочем, Клиберн был прав. Конкурс был организован, чтобы показать превосходство советской школы. Посему в верхах началась легкая паника. Первым встрепнулся Сергей Васильевич Кафтанов, по профессии химик-технолог, в то время являвшийся заместителем Министра культуры СССР. В своей реляции он сигнализировал, что «вокруг выступлений Вана Клиберна создается нездоровый ажиотаж» (а как же иначе: здорового ажиотажа в стране Советов быть не могло, только нездоровый – будь то появление на публике А. А. Ахматовой, приезд в страну Голды Меир, публикация первой повести Солженицына или игра техасского парня). Однако главным образом Сергей Васильевич справедливо обратил внимание руководства на «неверное настроение среди некоторой части музыкальной общественности о якобы возможной необъективности в оценке его (Клиберна) творчества». Докладная легла на стол к Фурцевой. Она знала, что тов. Суслов категорически против премий американцам – это было для него /Суслова/ идеологическим поражением. Поэтому она помчалась к Хрущеву, чтобы настроить его соответствующим образом, опередив Суслова. (Прямо «Семнадцать мгновений весны»!) Успела. Настроила. «*Школа у него советская (!). Клиберн учился у профессора Левиной (!)*». Здесь все замечательно. И то, что судьба лауреата конкурса решалась на уровне Главы государства – представить, что, скажем, де Голль вмешивается в распределение премий конкурса им. М. Лонг и Ж. Тибо или королева Бельгии Елизавета определяет итоги конкурса ее – королевы Елизаветы – имени – представить это немислимо.

(Здесь маленькое отступление.

Как поразительно меняется со временем наша реакция на идентичные события. То, что раньше раздражало и возмущало, теперь вызывает умиление. Разве не умилительно, что наше родное Советское правительство, ЦК, Министерство культуры *назначали* победителей Меж-

дународных конкурсов. Так, в 1964 году победителем конкурса имени Королевы Елизаветы в Брюсселе был назначен Николай Петров – пианист, действительно, великолепный; музыкант, заслуженно занявший самое почетное место в истории мирового исполнительства XX века. То, что жюри конкурса может решить иначе, не предполагалось. Однако случилось непредвиденное: победил другой! Неожиданно для всех, прежде всего для самого пианиста-победителя, для его учителя – Якова Зака – и для Советского правительства первое место занял также советский пианист, но другой, не назначенный – 18-летний Евгений Могилевский, который, не ожидая ничего примечательного в своей судьбе, перед выступлением играл в настольный теннис. Николай Петров стал вторым. В Москве обиделись! Екатерина Фурцева, обманутая в своих лучших надеждах, с обидой – на кого? – говорила родителям Могилевского: «Встречайте сами»; тогда было принято победителей конкурсов, особенно такого – самого именитого и престижного в мире – встречать «от имени правительства и народа» с цветами и даже с музыкой. «Встречайте своей семьей, мы не будем!» Естественная бабская обида. Как жюри, всякие Артуры Рубинштейны могли ослушаться, главное, не понять женского сердца?! Милый, что тебе я сделала... Не трогательно ли!

Теперь всем на все наплевать.)

Короче, во всех этих перипетиях победы американца всё замечательно. И присвоение «советского гражданства» Розине Левиной, покинувшей вместе с мужем – блистательным мировым виртуозом Иосифом Левиным – Россию задолго до революции (в 1909 году) и никогда при большевиках в страну не возвращавшейся. И то, что Хрущев на этот манок клюнул – историю отечественного исполнительства на кафедре Льва Ароновича Баренбойма он не изучал. Или сделал вид, что клюнул. Не прост был Никита, не прост. Быстро сообразил, какие дивиденды можно наварить на *объективной* оценке *американца в СССР*. И наварил: от такой неожиданности мир обомлел. За Клиберна его не только возлюбили по обе стороны океана, но даже стали делать вид, что забыли Венгрию *там* и простили чудачества *здесь* (до позора с Нобелевкой Пастернака было ещё полгода). Мир увидел, что у советского лидера может быть «человеческое лицо» (пусть не освещенное светом мудрости и не слишком интеллигентное), а страна может постепенно утратить статус концлагеря с лучшим в мире балетом. Одна фраза – и ситуация изменилась: «Если он лучший, премию надо давать ему!» – цитируют лидера современники. (Или, как запомнил Клиберн: «Победителем конкурса имени Чайковского должен стать американец Ван Клиберн! Искусство свободно от предрассудков!») Далее – известно. Толпы рыдающих поклонниц в Москве и Ленинграде; кортеж открытых лимузинов, плывущих по Бродвею; стотысячная толпа, дождь из белых листков бумаги, серпантина, цветов, шариков; обеды с президентами – в Америке; кустик сирени, выкопанный пианистом на могиле Чайковского в Ленинграде и пересаженный на могилу Рахманинова на Кладбище Кенсико, округ Уэстчестер в штате Нью-Йорк; гигантские очереди с ночными перекличками в билетные кассы филармонических залов Москвы и Питера; «Подмосковные вечера»; ежедневные доклады американского посольства в Вашингтон о ходе конкурса (случай неслыханный, так обычно сообщали о ходе военных действий); изумленные, восхищенные, часто влажные глаза профессуры столичных консерваторий: «Гений, Рахманинов, Ванюша»; моментально вышедшие и расхватанные, как горячие пирожки в морозный день, монографии: С. М. Хентовой «Ван Клиберн» (она, тогда работавшая на кафедре Л. Баренбойма, была расторопным и талантливым журналистом; у нас она вела методику, но не сумела, все же, отворотить меня от фортепианной педагогики: влияние С. Савшинского и его коллег оказалось сильнее) и перевод книги А. Чейсинса и В. Стайлза «Легенда о Вэне Клайберне». Примерно в это же время страну посетили выдающиеся пианисты – среди них Байрон Джейнис и Гленн Гульд, Малькольм Фрагер и Анни Фишер, Никита Магалов и Хосе Итурби; гиганты – Артуро Бенедетти Микеланджели и Артур Рубинштейн, – однако ни о ком из них монографии тогда не появлялись... И всеобщая любовь.

Это был беспрецедентный триумф, шок у профессионалов и помешательство самых широких слушательских (и *неслушательских*) масс. Нечто подобное случилось в нашей истории только однажды – в девятнадцатом веке во время *первых* гастролей Ференца Листа в России (1841 год).

Здесь совпало все. Бесспорно, незаурядный пианистический талант, редкая музыкальность особо открытого эмоционального, чувственного толка. Школа. Первым педагогом была его мать, которая заложила мощный, классически выверенный фундамент его пианизма. Когда Хосе Итурби услышал мальчика, он посоветовал как можно дольше не менять педагога. Ещё бы: мадам Рильдия Клайберн была ученицей великолепного пианиста Артура Фридриха, уроженца Санкт-Петербурга, ученика – недолгое время – Антона Рубинштейна, а затем – Ференца Листа. Причем в невероятном по своему блеску созвездии птенцов Веймарского маэстро он занимал одно из самых видных мест. Пианистическое мастерство, чувство стиля, строгий вкус, вдумчивость интерпретаций, немецкая педантичность с привитыми романтическими принципами своего учителя, фанатичность в работе – все это делало его репутацию непоколебимой, и эти качества в той или иной степени пунктуальная и дотошная Рильдия старалась передать своему сыну. Затем – школа Розины Левиной.

Если русские влияния в линии Фридрих – Рильдия были весьма опосредованы, хотя культ Рахманинова царил в доме, то традиции русской школы у Левиной были явственны и бесспорны. Сама Розина Бесси-Левина закончила Московскую консерваторию по классу Василия Сафронова – патриарха московской исполнительской культуры. Среда, в которой она росла и воспитывалась – это среда ее соучеников по классу Сафронова: Александра Скрябина, Николая Метнера, Александра Гедике, Иосифа Левина, Леонида Николаева, Александра Гречанинова, сестер Гнесиных и многих других, без кого русская музыкальная культура России и зарубежья немыслима. И, конечно, среда кумира Москвы – Сергея Рахманинова. Считается, что одно из последних выступлений Рахманинова в городке Шривпорте, где жили Клайберны, оставило неизгладимый след в сознании Клайберна. Однако на концерт своего кумира Ваня не попал, так как заболел ветрянкой. Так или иначе, но и сама Левина (превосходный педагог, давшая Эдуарда Ауэра, Джеймса Ливайна, Мишу Дихтера, Гаррика Олссона, Урсулу Оппенс и других звезд классической музыки; блистательная пианистка, прославившаяся в дуэте – одном из первых и лучших в мировой истории – со своим мужем Иосифом Левиным), и коллекция пластинок с записями игры великого музыканта, которой Клайберн гордился, и атмосфера преклонения перед русской музыкой и школой – все это и впрямь делало Ваня Клайберна «родным» для советских слушателей. Фурцева с Кафтановым не очень грешили против истины, причисляя пианиста к русской (но не советской – не худшей или лучшей, но *другой*) школе. Он явился как «свой»: исполняющий лучше всего русскую музыку – Рахманинова и Чайковского, играющий в «старорусской» – эмоциональной, открытой, свободной манере – манере молодого Рахманинова, ученик музыканта из России, он, влюбленный в русскую культуру, даже с русским лидером сроднившийся своей наивностью, восторженностью, импульсивностью. «Молодой Рахманинов!» – прав Гольденвейзер и многие другие «старики», слышавшие и помнившие великого соотечественника. Импровизационность интонирования, рельефная, естественная широкая фразировка, предельная мощь звучания рояля, сочетающаяся с бархатной теплотой и бережной нежностью звука, наивность и детскость прочтения лирических фрагментов, особенно в концертах Рахманинова, объемное дыхание, чеканность и, вместе с тем, непривычная для нас свобода и гибкость ритма – «на грани», рахманиновская неумолимость «скока» разрабочных частей, с демонизмом завораживающего крещендо и стретто – то есть «сжатием» во времени – музыкальной ткани – всё это, вплоть до длинных пальцев, было, действительно, рахманиновское. И – все же – это был не слепок с ку мира, это был Клайберн, несущий свои родовые черты, но – самобытный и оригинальный художник. Рыцарственный суровый «застегнутый» облик неулыбчивого Рахманинова, с короткой стрижкой «ежином» (почему-то ассо-

циация: разработка первой части Третьего концерта в его исполнении – Воланд со свитой на волшебных черных конях в тишине и в ночи в мерной неумолимой скачке) у американца озаарился открытой доверчивой улыбкой наивного юноши с копной вьющихся (завитых?) волос, царапающей если не небеса, то потолок...

Всё это поразило и заставило говорить о гениальности Клиберна. Он и впрямь был гениален. И не только тридцать минут на последнем туре конкурса. Вся его первая встреча с Россией в 1958 году была освещена этой его гениальностью и нашей потребностью в этой гениальности, ее ожиданием, ее востребованностью.

Второй его приезд породил ожидания бóльшие, нежели градус окончательных восторгов, хотя ажиотаж – здоровый! – был. Дальнейшие встречи, скорее, разочаровывали. Хотя эти разочарования были ожидаемы и предсказуемы. Просто мы тогда этого не понимали. Опять аналогия – единственная – с XIX веком.

Первый приезд Листа в Россию (точнее, в Петербург – 1841 год) – сумасшествие, обмороки, объятия и клятвы в любви друг к другу и к Листу – и не только среди «модных барышень, которых переполошил Лист» (М. И. Глинка), но и в изысканных салонах Виельгорских, Раstopчиной или Одоевского, при Дворе и в среде профессиональных музыкантов; в игру и в личность гениального гостя столицы были влюблены все: от самого скептика Глинки до Великой княгини Елены Павловны, от Шевырева и Погодина до Нестора Кукольника и Осипа Сенковского, от Стасова и Серова до подписчиков «Северной пчелы» Ф. Булгарина, от Гензельта, Брюлова, Варламова до Нащекина, В. Соллогуба или А. Булгакова, от Федора Глинки и А. Тургенева до Герцена. (В отличие от Хрущева, Николай пианиста невзлюбил: длинные волосы Листа не давали покоя монарху, плюс венгерская национальность настораживала, да и держался этот заезжий музыкант не совсем почтительно, дерзил.) В 1843 году проникательный Федор Алексеевич Кони – отец известного юриста, проживавшего на Фурштадской, – в издаваемой им «Литературной газете» писал по итогам *второго* приезда Листа в Петербург: «Мы не посоветовали бы г-ну Листу вновь приезжать в нашу столицу...» Залы были если и не полупусты, то и не забиты полностью. Ажиотаж сменился отрезвлением, а затем разочарованием и отторжением. Маятник отнесло в противоположную сторону.

В последующие приезды Клиберна в СССР отторжения не было. Слишком разные причины и особенности регулировали восприятие этих двух совершенно несхожих явлений XIX и XX веков. Залы Москвы и Ленинграда были полны. Аплодисменты продолжительны. Рецензии благожелательные, хотя и с оттенком некоторого недоумения. Букеты цветов, улыбки. Чуда же не происходило.

Он не стал играть хуже. В чем-то даже лучше, совершеннее, мужественнее; репертуар разнообразился, техника усовершенствовалась. Но это был не Ван Клиберн. То ошеломляющее своей открытостью и мощью *«искусство переживания»* модифицировалось в *«искусство представления переживания»*. Блистательный московский рецензент и вдумчивый оригинальный музыковед Давид Абрамович Рабинович сформулировал точно: *«Вэн Клайберн играл Вана Клиберна»*. Даже самая мастерская копия не может нести аромат подлинника. Клиберн по сути не изменился, он законсервировался. Этот «консерв» был самого высокого качества, но со «свежим продуктом» не сравним.

И ещё. Клиберн не изменился. Изменились мы. Очень быстро возмужали, стали не лучше и не хуже, но – другие. Жизнь заставляла. Приобрели ли мудрость – неизвестно, но наивность потеряли, это точно. Однако, потеряв, не стали ее стимулировать, симулировать, консервировать. Скорее, наоборот – нас занесло в противоположную сторону. То уникальное *мимолетное* стечение различных факторов, которые при столкновении – соприкосновении – взаимодействии высекли искру чуда – *«Господне вдохновение»* – это стечение в силу своей молниеносности исчезло, растворилось, и с ним невозвратно ушло в небытие *«Господне вдохновение»*. – Было ли?

...Тогда совпало всё. Клиберн оказался в нужный момент и в нужном месте – в стране, переживавшей невиданный за всю историю бескровный переворот бытия и сознания, социокультурный сдвиг, принесший свежий «воздух для жизни» (Наум Коржавин в 1973 году, эмигрируя, объяснил причину отъезда «нехваткой воздуха для жизни» – тогда, к 73-му, этот воздух давно выветрился), создавший новую атмосферу – иллюзорную – ожиданий – наивных, но пьяняще-радостных; сдвиг, выявивший сообщество – не великое, но все расширяющееся – раскрепощенных личностей, вырывающихся из пут обыденности и пуризма, устремленных в дали романтизма и романтики – бытовой и нашей – профессионально – музыкальной, исполнительской. Клиберн, по абсолютной случайности, по велению, возможно, Свыше оказался в этой *единственно необходимой* ему атмосфере и нежданно-негаданно стал олицетворением, воплощением и символом наших надежд и устремлений. От детской солнечной улыбки до прикосновения пальцев к клавишам – первых звуков тихой, трепетной и трогательной темы Третьего концерта Рахманинова. Незабываемые звуки весны 1958 года.

Что творилось в Ленинграде... Впрочем, то же, что и в Москве. Милиционеры на лоснящихся стройных длинноногих лошадях, юркие безликие люди с билетами на концерт по десятикратной цене, седовласые профессора Консерватории, проталкивающиеся сквозь плотную массу возбужденных людей, правители города и торговые работники в первых рядах и ложах, толпа на улице: проезд по Бродского перекрыли, услышать Клиберна эти люди не могли, но пытались хоть увидеть во время его прохода из служебного входа Филармонии в гостиницу «Европейская» после концерта, хотя когда он закончится, неизвестно – Ванюша на бисы был щедр...

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Сергей же Васильевич Кафтанов с культуры, а затем радиовещания и телевиденья (этот Комитет он возглавил уже после культуры) был перекинут на профессиональную стезю: возглавил Московский химико-технологический институт (МХТИ). Это у него хорошо получалось. Как у Аркадия Аполлоновича Семплеярова, помните? – «Едят теперь москвичи соленые рыжики и маринованные белые и не нахвалятся ими и до чрезвычайности радуются этой переброске. Дело прошлое, но не клеились у Аркадия Аполлоновича дела с акустикой...».

Красноармеец, в каждую хату носи книги госиздата!

Это была пора, названная по имени трудно читаемой и справедливо забытой повести Ильи Эренбурга. Кто-то, кажется, Ст. Рассадин справедливо сравнил эту *оттепель* – лет 5–7 – с переходом (под конвоем!) декабристов из острога в Чите до острога в Петровском Заводе. Весеннее цветущее Забайкалье, ласковое солнце, пьянящее буйство ароматов, звуков, красок молниеносной весны: радужный ковер цветов, бирюзовый перелив молодой травы, уютное жужжанье шмелей, пересвист птиц, суета белок на кедровых ветвях; можно было присесть: конвой – тоже люди, отдохнуть, вздохнуть полной грудью, подставить лицо под лучи солнца... Иллюзия свободы. И дальше. Из камеры в камеру. Из клетки в клетку.

Этот переход из тюрьмы в тюрьму мы проделали и с шестифутовым парнем из Техаса. И он – не только, далеко не только он – был с нами. Помимо всего прочего, именно он – и только он – побудил нас иначе смотреть на американца как такового. Оказалось, что американец – это не только и не столько крючконосый дядя в нелепом для XX века цилиндре и в звездно-полосатом жилете с бомбочкой в руке и не Олешевский толстяк на мешке с деньгами в том же жилете и в том же цилиндре (с воображением у Кукрыниксов была напряженка). Оказалось, что американец – и Ванюша Клиберн. Все это заставляло задумываться. Так что влияние лауреата Первого конкурса Чайковского лежало не только в музыкально-исполнительской плоскости.

Ленинград хорошел. Исчезали руины. Пустили метро. В пятом классе двух девочек-отличниц и почему-то меня класс выбрал для экскурсионной поездки в метро. Это была большая честь. Народу набилось уйма, и все восхищались, как в музее. В Эрмитаже тоже восхищались, но и негодовали: открылась выставка Пикассо. На стене лестницы, ведущей к экспозиции, установили щит, на котором можно было оставить свой письменный отзыв. Были восторженные. Один запомнился. На листке из ученической тетради в клеточку детским почерком было выведено: «Если бы я был жив, я бы запретил. И. Сталин».

14 мая 1957 года на Кировском стадионе случилось самое большое побоище – бунт, который был в нашем городе на моей памяти. Народ был озлоблен вне-футбольными делами: по просьбе трудящихся вышло печально знаменитое постановление ЦК КПСС и Совмина «О государственных займах...», которое откладывало погашение и выплату выигрышей по «добровольно-принудительным» займам на 20 лет. Плюс «Зенит» проиграл «Торпедо» со счетом 1:5. Перед самым финальным свистком на поле вышел нетрезвый человек – милиция проморгала, снял пиджак, вытолкнул из ворот «Зенита» вратаря Фарыкина и встал на его место. Милиция опомнилась, скрутила доброхота, разбив в кровь ему лицо, прозвучал свисток. Тут начался бунт. Несколько сот человек выбежали на поле и стали избивать милиционеров. Стоявшие в оцеплении курсанты военно-медицинского училища имени Щорса, размахивая ремнями с металлическими пряжками, поспешили на помощь милиции. На стадионе было около 100 000 человек. Не все сто тысяч кинулись на поле, многие свистели и улюлюкали, наслаждаясь зрелищем избиения милиции, но все равно побоище вышло массовое и кровавое. Футболистам и многим милиционерам удалось скрыться в туннеле под трибунами, успев закрыть за собой ворота. Затем они были эвакуированы. Толпа, вооруженная лопатами, граблями, ломami, с криками «Бей милицию», «Бей футболистов» ринулась на штурм административных зданий. Опрокидывали автомобили, «Скорую помощь», пытавшуюся вывезти тяжело раненых, затолкали обратно на стадион. Крови было много. Торпедовец Эдуард Стрельцов, много повидавший в жизни – и вольной, и за колючей проволокой, называл этот день 14 мая самым страшным днем в своей жизни. Дмитрий Шостакович как-то сказал, что «в нашей стране стадион – единственное место, где человек может говорить правду о том, что видит». 14 мая наговорились. Кто на 10 лет, кто – на 8, кто – на 6. Прибывшие к вечеру курсанты двух военных училищ, оперполк милиции, солдаты внутренних войск хватили всех «ораторов» и молчунов без разбора, потом началась зачистка Приморского Парка Победы. Говорят, что «воронков» не хватало. Менты ловили такси и туда набивали арестованных. Нигде никогда об этом побоище не сообщали. Как будто его не было.

Так что культурная жизнь Питера кипела. В тот же вечер, 14 мая 1957 года, при полупустом зале (Большом) Ленинградской филармонии давал свой первый концерт в нашем городе Гленн Гульд. Через день на его второй концерт к Малому залу той же Филармонии были подтянуты отдохнувшие после бойни на стадионе силы милиции, чтобы удержать толпы ленинградцев, рвущихся на концерт этого пианиста.

В том же году Товстоногов поставил «Идиота», Акимов же в 1956 году ограничился «Обыкновенным чудом». Мудрый Вивьен наблюдал за соперничеством двух полярных титанов и, не торопясь, ставил свои шедевры – «На дне» и «Бег». Мы с упоением слушали песни Булата Окуджавы. Ленточный магнитофон моего друга-одноклассника – единственный в нашей компании – хрипел, шипел, лента рвалась, но влюбленность в мудрого, доброго, очаровательного человека, в эту совершенно необычную личность, чудного поэта и великолепного, как оказалось позже, прозаика, осталась на всю жизнь.

На Марсовом поле зажгли первый в стране «Вечный огонь». Тогда это было событие, которое что-то значило для того – нашего – поколения. К тому же вышел фильм Калатозова «Летят журавли». Потрясение. Тогда плакать ещё не разучились. Параллельно с «Вечным огнем» убирали со всех постов Г. К. Жукова. «За авантюризм», «бонапартизм», «утрату пар-

тийной совести» и что-то ещё. На воду спустили первый атомный ледокол «Ленин». Увлекаюсь, как и все мои сверстники, военной историей России – ее победами и поражениями, войнами великими и малыми, я вдруг осознал, что с Соединёнными Штатами Россия НИКОГДА не воевала. С Англией – да, с Францией – неоднократно, с Германией, Польшей, Турцией, Украиной, Швецией, Японией, Грузией, Литвой, Ираном и пр. – не счесть. Даже с Финляндией умудрилась. Россия – бойкая страна. Со своим народом – всю историю! С Америкой – никогда. Часто говорили, что «Второй фронт – исключение». Со временем я стал понимать, что это, в лучшем случае, искажение истины. «Второй фронт» – закономерное продолжение и завершение столетней практики взаимоотношений двух стран. Читая где-то в десятом классе книгу об истории Войны за независимость, обнаружил: когда Георг III запросил Екатерину II о помощи в подавлении восстания в своих американских колониях, то получил отказ. Дальше – больше. Весь XIX век геополитические интересы САСШ и России совпадали. Доминантой были антианглийские настроения и действия обеих сторон. Николай Первый (точнее – по приказу Императора мой сосед гр. Клейнмихель) привлекал, в частности, американских специалистов при постройке железной дороги СПб – Москва, а также при проведении первых телеграфных линий. Особую помощь САСШ оказали в перевооружении русской армии после очередной Крымской катастрофы, на сей раз в 1853–56 гг. Во времена Александра III возникли и усилились противоречия (особенно заметна критика со стороны САСШ российской политики в еврейском вопросе), но принципиальное сотрудничество оставалось неизменным. И в XX веке САСШ практически во всех соприкасающихся проблемах были союзниками России. Достаточно вспомнить хотя бы Портсмутский мир 1905 года. Условия этого мирного договора под давлением Теодора Рузвельта были для российской стороны не так плохи, как хотелось бы японцам, что вызвало известные массовые беспорядки в Стране Восходящего солнца. Николай Второй был настолько поражен подписанными Витте условиями мира – это после позорного разгрома! – что назначил очень нелюбимого политика Премьер-министром. Конечно, Теодор Рузвельт преследовал свои цели, играл в свои игры, превосходным мастером которых был, это несомненно. Долгое время он оказывал Японии огромную финансовую поддержку и вообще до поры до времени поддерживал возрастающее влияние Японии в противовес России, однако по мере усиления Японии он виртуозно сменил вектор восточной политики: чрезмерное усиление Японии в Тихоокеанском регионе не входило в его планы. И в Первую Мировую войну Россия и САСШ были союзниками.

Все это я узнавал постепенно в юном возрасте. Это не было запретной темой: «два хищника – царская Россия и американский империализм» не могли не быть союзниками, тем более, что территориальные споры или европейские проблемы между ними не стояли. Значительно позже я стал докапываться до других аспектов этих отношений в XX веке, о которых было принято умалчивать.

После переворота 17-го года САСШ предали Россию. Их смехотворный Экспедиционный корпус – сродни убогим санкциям во время оккупации (...) и, особенно, – аннексии (...) в XXI веке. Однако после 18-го года были две страницы: одна, заслуживающая восхищения, другая, на мой взгляд, позорная, но обе они работают на идею о тесном ТРАДИЦИОННОМ сотрудничестве двух стран.

Первая – это деятельность АРА и Герберта Гувера по оказанию помощи голодающим Сов. России. Голод охватил 35 губерний с населением в 90 миллионов человек. Голодало около 40 миллионов. АРА и Губерту, несмотря на противодействие Ленина, удалось добиться подписания соглашения о помощи. Не вдаваясь в подробности: к февралю 22-го года АРА и подконтрольные ей организации вложили в помощь голодающим 42 миллиона долларов. Правительство Сов. России – 12 миллионов 200 тысяч долларов; организации, подконтрольные Ф. Нансену – около 4 млн. Уже в мае того же года АРА кормила (по советской методике подсчета!) 6 млн. 99 тыс. человек, «Квакеры» (Религиозное об-во Друзей) – 265 тыс., «Save the

Children Alliance» – 259 тыс., Нансеновский комитет – 138 тыс. и т. д. Летом того же года АРА кормила 11 миллионов человек, другие международные организации – 3 млн. Кроме этого АРА поставила на 8 млн. медикаментов и снабдила в 22-м и 23-х годах Россию посевным зерном. Помимо этого сам Губерт (и люди его круга по его настоянию) пожертвовал из своих личных сбережений средства, спасшие жизни 9 миллионам человек. Как писал Горький в письме к будущему Президенту США: *«Ваша помощь будет вписана в историю как уникальное гигантское свершение, достойное величайшей славы, и надолго останется в памяти русских /.../ которых Вы спасли от смерти»*... Как бы не так. Благодарности к сытой и добродушной Америке остаться не могло по определению. Осталась ненависть. Это понятно. У нас любовь возникает только к ещё большим голодранцам, нежели мы.

...Так или иначе, но голод в России 1921–22 годов (если не считать потери во время войн) был крупнейшей гуманитарной катастрофой со времен Средневековья.

Мужскую силу – на помощь женщине!

...Вторая страница – на мой взгляд, постыдная – сотрудничество 30-х годов. Если помощь во время голода была абсолютно бескорыстна и, фактически, лишена политической составляющей, то вторая базировалась на известном постулате императора Веспасиана: *«Деньги не пахнут»*. Прекрасно понимая, что из себя представляет Сов. Россия, равно, как и нацистская Германия, Штаты не побрезговали сделать хорошие деньги, тем самым помогая встать на ноги сталинскому монстру. Не случайно тов. Сталин И. В. в классической работе *«Вопросы ленинизма»* в начале 30-х годов писал: *«Американская деловитость является... противоядием против революционной маниловщины и фантастического сочинительства. Американская деловитость – это та неукротимая сила, которая не знает и не признает преград, которая размывает своей деловитой настойчивостью все и всякие препятствия, которая не может не довести до конца раз начатое дело, если это даже небольшое дело, и без которой немислима серьезная строительная работа»*. Россия – страна парадоксов: Новый год перед Рождеством; отличительные знаки русских частей Третьего рейха в день Победы; прорубили окно и завесили железом; пригрозили перенацелить ракеты на Европу и одновременно говорили о необходимости безвизового общения; Америку ненавидят на генном уровне, а детей учат именно там, сбережения – туда, недвижимостью в Майами и пр., пр., пр. Перед Сталиным, стыдливо отводя глаза, преклоняются и пытаются убого подражать, но по поводу американской деловитости память отшибает, и прёт маниловщина и фантастическое сочинительство.

Без Америки даже рабский труд ничего не сотворил бы.

Ещё в школе, помню, проходили, что Сталинградский тракторный завод был построен в рекордные сроки – за 5 месяцев. Точно. Только не упоминали, что сначала этот завод фирма *Fordson* спроектировала, изготовила (все до гвоздя) и собрала с нуля в Детройте, после чего разобрала, перевезла в Россию и собрала, подключила, опробовала – действительно, за 5 месяцев. Вообще значительная часть моделей техники, производившейся в те годы на советских заводах, представляла собой копии либо модификации зарубежных аналогов. В феврале 1930 года между «Амторгом» и фирмой американского архитектора Альберта Кана (*Albert Kahn, Inc.*) был подписан договор, согласно которому фирма Кана становилась главным консультантом советского правительства по промышленному строительству и получила пакет заказов на строительство промышленных предприятий стоимостью 2 млрд долларов (около 125 млрд долларов в ценах нашего времени). Эта фирма обеспечила строительство более 500 промышленных объектов в СССР. С непосредственной помощью этой фирмы Кана и через нее – с помощью столпов американской индустрии и технологической мысли, были построены такие гиганты, как Нижегородский автозавод (*Ford + Austin Motor Company*), 1-й Государствен-

ный подшипниковый завод в Москве, Магнитогорский металлургический комбинат (*Arthur G. McKee and Co.*); стандартная доменная печь для этого и всех остальных металлургических комбинатов периода индустриализации была разработана чикагской компанией *Frey Engineering Co.* Гордость первых пятилеток – Днепрогэс – работал на чьих турбинах? – американских (*General Electric u Newport News Shipbuilding*). Американец Хью Купер был главным консультантом строительства Днепрогэса, как, впрочем, сотни и сотни американских специалистов, работавших в Совдепии (так, в Москве процветал филиал фирмы Кана – «Госпроектстрой» – под руководством его брата, Морица Кана, – по тем временам самое большое архитектурное бюро мира, через которое за три года прошло 4 тысячи советских инженеров, архитекторов, техников и пр.). И так далее! Дядя Джо знал, что говорил на лекции в Свердловске в 1924 году и затем повторил во всех изданиях своего творения «Вопросы ленинизма».

Вторая мировая... Принято считать, что ленд-лиз, конечно, помог тушенкой, сгущенкой, яичным порошком и пр. Что, действительно, немаловажно: многие жизни были спасены этой вкусной тушенкой – до сих пор помню ее вкус. Но забывают – заставляют забыть, что прославленные «Катюши» ездили исключительно на Студебеккерах, про Виллисы уж и не говорю; авиационное топливо, порох, динамит, тротил и пр. (производство пороха и производных в первые недели войны оказалось под немцами); средства связи, колючая проволока – в основном (до 80–90 %) по ленд-лизу. О таких пустяках, как самолеты – 22 с лишним тысячи, танки (около 13 тыс.), стрелковое и автоматическое оружие (миллионы штук), не говорю. Не надо забывать, что детища АМЕРИКАНСКОЙ индустрии, такие, как Сталинградский тракторный завод, выпускали не столько трактора, сколько танки. Кстати, легендарный танк Т-34 – модификация (удачная) американского танка «КРИСТИ». Или 15 с половиной миллионов пар армейских ботинок – Сов. Армия была босая! Здесь можно о многом говорить, напомним лишь, что по ценам 1945 года нам было поставлено вооружений, оборудования, нефтепродуктов, плюс алюминия (106 процентов по отношению к производству в СССР), взрывчатки (53 %), олова (223 %), автомобильных шин (92 %) и пр. всего на 11, 3 миллиарда долларов (то есть примерно 250 миллиардов по сегодняшним расценкам). Счет уже после войны был выставлен на 700 миллионов, СССР в 1975 году – уже по другим ценам – согласился выплатить 37 миллионов. Затем выплаты были приостановлены, не расплатились по сей день...

Только в 1946 году после речи Черчилля и когда на смену соглашателю Рузвельту пришел энергичный и бескомпромиссный Трумэн, в США стали осознавать, что на смену нацизму они сами взрастили более опасного, бесчеловечного и «долгоиграющего» зверя – Советский Союз; вот только тогда и началась борьба «двух систем», которая переросла в битву двух видов *homo sapiens*.

Все это долго крутилось в моей голове, укладывалось, переваривалось. Много не мог понять. Неужто нет памяти, нет чувства справедливости, нет уважения к собственной истории? Начисто отбило. Не понимал ранее, да и сейчас, приближаясь к конечной остановке своего пути, не понимаю, как, каким образом за десять с лишним лет удалось вывернуть массовую психологию наизнанку, откуда-то из глубин подсознания извлечь самые дремучие, ранее не проявлявшиеся инстинкты, извратить саму природу мышления, перевернуть систему координат, поменять полюсы добра и зла, заставить радостно верить самой примитивной лжи, преклоняться перед убогим (...), (...) как раздувшаяся моль. Татаро-монголам с их ограниченным контингентом не удалось; Ивану Грозному повезло больше, но не до конца перерезал и перебил; и Друг физкультурников здесь прав: «Петруха не дорубил»; у большевиков за 70 лет не получилось, при всех успехах. Злодеи были великие, упыри сказочные, нелюди, а не удалось. Ход истории переменяли, хребет российской цивилизации переломили, но народ в одичавших злобных грызунов не превратили. А тут... Неужели и я – частичка этой массы, из нее не вырвавшийся, завязший в ней, несмотря на все старанья, потуги, рывки?

– Голубчик, Ваше высокородие, побойтесь Бога! Скоро уже Город, а вы все об Америке. Да наплюйте на нее. Тоже мне – «проблема»! Вот упадет на нее метеорит, и нет вашей Америки. Вы подробнее о том, о чем просят-с.

Он прав. Чего я завелся? Безграмотное убожество бесит.

Да здавствует солнце, да скроется тьма!

Тьмы тогда было достаточно, но и солнце пробивалось. Все это уживалось поразительным образом. Когда я бросил (первый раз) курить, от старых времен ещё оставались узорчатые пирамиды банок с крабами. Пирамиды пылились, крабов покупали редко. На прилавках не только Елисеевского, но и на углу Невского и Рубинштейна, Невского и Литейного – у *зеркал*, где начинали свой променад *штатники*, даже в нашем гастрономе напротив Дома Мурузи или на углу Литейного с Петрушкой (Фурштатской) преспокойно лежала («и никому не мешала») икра трех сортов: зернистая (черная), красная и паюсная. Рядом – семга малого посола, осетрина холодного копчения, севрюга – горячего. Миноги по осени. Корюшка весной – не только в магазинах, но и в ларьках на каждом углу. Запах свежей корюшки – огурцов – запах весеннего Ленинграда... Цены были вполне доступные. Зато не было овощей или фруктов. Только подгнившая, подмерзшая картошка и репчатый лук – пустой, мятый и вдавленный, как яйца быка после длительной случки.

К тому времени, как я стал выпивать, ситуация изменилась. Во-первых, изменились цены на главный продукт. Это важно для понимания жизни Ленинграда. Когда мы впервые – класс восьмой-девятый – вошли в винный отдел гастронома у «Водников» (на углу Кирочной и Чернышевского), водка обыкновенная – «сучок», пол-литра с картонной пробкой, залитой красным сургучом, стоила 21 рубль 20 копеек (после реформы 1961 года – 2. 12), «Московская особая» – то же самое, но с белым сургучом – 25. 20 (2. 52), «Столичная» – белая бутылка с высоким горлышком («коньячная») – 30. 70 (3. 07). Потом появился Указ, по которому в вырезителях стали брить наголо и сажать на 15 суток. Указ вышел в декабре, поэтому стриженных наголо стали звать декабристами. С гордостью напоминаю, что не только три революции произошли, но и первый вырезитель в СССР появился в нашем городе: в 1931 году на улице Марата. Вслед за появлением декабристов поднялись и цены. «Московская» с пробкой из фольги – «козырьком» – стала стоить 2. 87, «Столичная» – 3. 12. «Товарищ, верь, придет она – на водку прежняя цена». Напрасно верили. Цены официально не поднимали долгое время – страшен русский бунт, бессмысленный и беспощадный, но стали появляться новые названия (по новой цене): «Русская», «Пшеничная», «Отборная», коленвал, андроповка. Все хуже и хуже. Единственной стоящей водкой внутреннего потребления – мечтой финского туриста – оставалась «Московская» с неизменно зеленой этикеткой. Только ее (и экспортные марки) производили из зернового спирта.

Овощей по-прежнему не было. Фруктов тоже. Я всегда поражался, почему в кондитерской в доме Клейнмихеля тогда были в изобилии соки сливовый и персиковый, клюквенный и грушевый, брусничный (по осени) и абрикосовый; про томатный, березовый, яблочный и виноградный уж и не говорю – всегда. Напротив же, в гастрономе на углу (это в доме № 21 по Литейному, в котором когда-то проживал Самуил Яковлевич Маршак), в овощном отделе ничего из перечисленного ассортимента соков в виде натуральных фруктов не было. Из чего давили сок?! Осенью с машин продавали яблоки с Украины. На рынке было все, но цены кусались. О бананах мечтали. Даже значительно позже – в 70-х, когда рассказывали, что в Финляндии бананы – круглый год, никто не верил. Если у нас нет, то откуда в Финляндии, которая севернее... Когда же добавляли, что бананы с темными точками – пятнышками – самое вкусное – там стоят вообще копейки, так как чуть порченые – хотелось ответить словами Императора Николая Второго: «Закусывать надо!» (Государь изволил молвить эти бессмертные слова,

узнав о том, что градоначальник Балаклавы обратился к нему с просьбой предоставить Балаклаве суверенитет). Рыбные деликатесы ещё были, но цены подскочили. Крабы исчезли. Навсегда. Кроме магазина «Березка», где они водились постоянно.

У популярного и талантливого конферансье Олега Милявского была такая реприза: «Захожу в рыбный отдел, гляжу – мама родная, лежит... бельдюга, ну и... ну и хек с ней!..Рядом». Мужчины в публике переглядывались, понимающе ухмыляясь, дамы краснели. Через пару лет про такой рыбный деликатес, как бельдюга (отряда окунеобразных), уже стали забывать, а мороженный хек иногда выбрасывали. Сразу же образовывалась очередь: «За дамой в шляпке не занимать. Только по одному килограмму в руки». Мама выстаивала очередь, и мы пировали.

Ещё была в продаже паюсная икра с пленкой, то есть неочищенная. Она стоила очень дешево, и мама покупала пол-литровую банку такой икры. Пленку аккуратно снимали и наслаждались последним приветом уходящей ночи. Вскоре ночь вернулась, но уже без икры, с пленкой или без оной...

Наши спутники бороздили, но химическая промышленность, слава Богу, находилась в эмбриональном состоянии. Во всяком случае, до легкой и, особенно, пищевой промышленности она ещё не доползла. Так что нейлоновые рубашки оставались мечтой, и приходилось мучиться в хлопчатобумажной продукции. Потом этот шедевр западной (прежде всего, польской) хим. индустрии проскользнул на прилавки советских универмагов, и мы стали радостно потеть в этих нейлонах. «Целуй меня, срываай нейлоны, / В моей груди страстей миллионы». Благодаря непроницаемости химических рубашек, которые, действительно, не мялись и после стирки не нуждались в утюге, да и стирать их было просто – протер мыльной губкой воротничок, сполоснул в прохладной воде – и готово, благодаря всем этим потовыделяющим достоинствам резко возрос ассортимент мужских одеколонов. Я старался достать одеколон с наиболее нейтральным запахом – «В путь!». Но главная прелесть этого забытого натурального времени состояла в том, что все было вкусно. Кто помнит вафельные трубочки с кремом за 7 копеек? – Я помню! Трубочки были длиной сантиметров в десять, края их были заполнены кремом или взбитыми сливками. Вафля хрустывала. Или мороженое. Я не был истовым поклонником этого продукта, как, скажем, всеми нами обожаемый профессор Консерватории Натан Ефимович Перельман. Но сейчас как вспомню... Эскимо круглое на палочке. О-о-о!!! Сливочный пломбир, приготовленный из цельного коровьего молока и сливок с ванилью, орехами, часто шоколадом. Самым вкусным был пломбир «Каштан» за 28 копеек. Дорого, но его расхватывали моментально, особенно если «Каштан» был шоколадный. Изредка, помню, удавалось купить «киевское» – персиковое или абрикосовое. Это была сказка. Вообще мороженое с привкусом настоящего парного молока стоило недорого: шоколадное эскимо – 11 копеек, «молочное» – 9 копеек, сливочное в вафельном стаканчике с розочкой – 28. Тогда с мороженым было все в порядке. Наступило заметное улучшение и с обслуживанием противоположной точки человеческого организма гражданина одной шестой части. 3 ноября 1969 года – через год после оккупации Чехословакии – в порядке компенсации – целлюлозно-бумажный комбинат в Сясьстрое выпустил первые рулоны туалетной бумаги. Выпуск производился на двух огромных, закупленных в Англии машинах. Сограждане долгое время не могли понять, зачем такие траты, когда есть газеты «Правда» и «Смена», и не спешили затовариться этим нежным приспособлением без свинца и идеологии. Но вскоре отбросили сомнения – и задница советского человека замерла в сладостном предвкушении неизбежной перестройки и закономерного крушения родной советской власти. Нет, с мороженым, а значительно позже и с туалетной бумагой все было в порядке.

Вот с Венгрией получилось нескладно, но меня это в то время не потрясло. Я ничего не понял. Имре Надь – кто это? Ведь коммунист, работал в СССР, поговаривали, что активно сотрудничал с НКВД, закладывая своих же компатриотов. Делал он это бескорыстно, то есть отказавшись от материального вознаграждения, за идею, что особенно восхищало рассказчи-

ков. Чем он не угодил своим бывшим коллегам-хозяевам? Чего они – венгры – хотят? Выполнения решений XX съезда в венгерских условиях? Возвращения к попорванным устоям, восстановления ленинских норм? Тогда почему танки и кровавое месиво? Только в 60-х с опозданием догнало и оглушило. Я впервые понял, что ночь – это неизбежно и навсегда. Межсезонье конца 50-х – исключение, но оно, все же, согрело и осветило.

*Дождь по асфальту рекою струится,
Дождь на Фонтанке и дождь на Неве,
Вижу родные и мокрые лица,
Голубоглазые в большинстве...*

Это пела Лидия Клемент. Она была не только певицей. Вернее, – не певицей. Она была воплощением и символом наших юных надежд, того времени, неповторимого и утреннего. Поэтому и ушла вместе с этим временем – молодая, обаятельная, талантливая, светлая. Она умерла в 1964 году. Ей было 26 лет. В этом же году закончилось наше утро. Отблески его ещё тускло светились четыре года – до августа 68-го, но это было уже не утро. Скорее, закат.

В XXI веке, на юбилее – 85-летию Наума Коржавина, я встретил в Бостоне Бориса Шафранова – мужа Лидии Клемент, прекрасного джазового музыканта. Вспомнилась фотография, сделанная на их свадьбе: она – сияющая, ямочки на щеках, голову чуть втянула в плечи, голубые глаза; он сидит прямо, натянуто, смущенно улыбающийся. На столе лимонад, нераскрытая бутылка шампанского, вино, салат, пирожки, яблоки. Скромная свадьба на рубеже 50-х–60-х. Жизнь начиналась. Удивительная, почти сказочная жизнь девушки – выпускницы ЛИСИ – Ленин градского инженерно-строительного института, моментально влюбившей в себя наше поколение не только слушателей, но и композиторов, поэтов, критиков. Представить Лидию Ричардовну Клемент на этом юбилее Коржавина рядом с Борисом – 75-летней – невозможно. Как невозможно представить стариком Пушкина или Моцарта, Рафаэля или Лермонтова. Господь рано забирает к себе своих любимцев. Лидия Клемент была моцартианским человеком. Ее нельзя было не любить, и она была той уникальной личностью и артистом, кого абсолютно не за что было не любить. Она была ленинградкой, из исчезнувшей породы людей

*...добрых больших озорных и мечтательных.
Мне повезло – я живу среди вас...*

Сердце не отпускало. Как сдавило ледяной рукой. Лучше бы уж пели про Петербург – Ленинград.

Потихоньку поплыли пригороды Твери. Как поразительно все в жизни сплетено. «Скрещенье рук, скрещенье ног, / Судьбы скрещенье ...» Теперь Сахарово – это окраина Твери. Ранее же – чудная ухоженная усадьба... В центре Сахарова – парк. В парке – могила. Ну что мне поселок Сахарово – ныне пригород Твери, этот парк, эта могила? Что общего, неразрывного? Почему напрягся, вглядываясь в окно медленно плывущего поезда? Вдруг увижу... «Свеча горела на столе. Свеча горела...»

...В 1861 году 33-летний флигель-адъютант Иосиф Гурко сделал предложение графине Марии Андреевне Салиас-де-Турнемир. Невеста была хороша во всех отношениях: красива, умна, аристократична, образованна и элегантна, однако принадлежала к известной фамилии. Флигель-адъютант Его Императорского величества слыл – справедливо! – человеком решительным, прямым, честным. Да и долг – превыше всего. Поэтому, презрев опасность, он при полном параде явился к Государю за разрешением жениться.

Здесь надо отметить, что Император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский Александр Николаевич не только ценил, но и искренне любил своего фли-

гель-адъютанта. Было за что. Гурко, будучи ротмистром лейб-гвардии Гусарского полка, привлек внимание молодого Императора своей блестящей джигитовкой. Молодой Государь приказал навести справки. Оказалось, что виртуоз-джигитовщик в 18 лет закончил Пажеский корпус и был выпущен корнетом в Гусарскую лейб-гвардию. Однако в 1853 году, желая во что бы то ни стало участвовать в Крымской кампании, сменил гвардейские погоны ротмистра на погоны пехотного майора и был переведен в Черниговский пехотный полк, что давало возможность участвовать в военных действиях. Это обстоятельство и ставшие известными слова Гурко: «Жить с кавалерией, умирать с пехотой» – особенно расположили Александра. Пролить кровь за Отчизну в тот раз майору Гурко не удалось – Севастополь был сдан. Вернувшись в Гусарский полк в прежнем звании ротмистра, полюбившийся Государю новый флигель-адъютант стал не только ближайшим доверенным исполнителем проводимых Александром Вторым реформ, но и поверенным в личных делах царя. Особую привязанность Государя вызвало секретное донесение о том, что на предложение высших чинов III (жандармского) Отделения о негласном сотрудничестве Гурко ответил официальным прошением о выходе в отставку. Александр Герцен по этому поводу писал: «Аксельбанты флигель-адъютанта Гурко – символ доблести и чести». Александр Второй Романов придерживался такой же точки зрения. Крайности сходятся.

...Крайности, действительно, сходятся. Вспомнил слова цесаревича, будущего Императора Александра Первого: *«В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а Империя стремится лишь к расширению своих пределов»*. И тут же всплыло: Михаил Лунин покидает Париж. Это 1817 год. Лунин покорила интеллектуальную элиту Парижа своим блистательным и независимым умом, непреклонным характером, изысканным воспитанием. На прощальном вечере у баронессы Рожэ к Лунину подходит его горячий почитатель Анри Сен-Симон – тот самый: социалист, хоть и утопический – со словами: «Опять умный человек ускользает от меня». И добавляет: *«Если вы меня забудете, то не забывайте пословицы: “Погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаете. Со времен Петра Великого вы все более и более расширяете свои пределы. Не потеряйтесь в безграничном пространстве. Рим сгубили его пределы /.../ ВОЙНА ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБСТВО; мирный труд положит основание свободе, которая есть неотъемлемое право каждого»*. И русский цесаревич и, казалось, его антагонист – французский философ-социалист – об одном и том же. А тут ещё и князь Вяземский со своей гневной оппозицией «Клеветникам России», в частности «географической франфарины» Пушкина: *«Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим враспяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст...»* (это по поводу того, что, если надо будет, встанем все «от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды»). Величие государства и значение правителя определяются в России количеством завоеванных квадратных миль, километров, превращая завоеванное в территорию рабства и нищеты. «Порядок изгнан отовсюду». (Как в скобках не вспомнить Георгия Федотова, его статью «Рождение свободы»: *«Остается не разрешенной /.../ загадка значения малых величин: отчего почти все ценностно-великое совершается в материально-малом? /.../ Свобода разделяет судьбу всего высокого и ценного в мире. Маленькая, политически раздробленная Греция дала миру науку, дала те формы мысли и художественного восприятия, которые, даже при сознании их ограниченности, до сих пор определяют мирозерцание сотен миллионов людей. Совсем уж крохотная Иудея дала миру величайшую или единственно истинную религию, /.../ которую исповедуют люди на всех континентах. Маленький остров за Ла-Маншем выработал систему политических учреждений, которая /.../ господствует в трех частях света, а ныне победоносно борется со своими смертельными врагами»*.) И – бесспорно – рабское состояние духа рекрутируется, приумножается и закрепляется только войной – победоносной

и, конечно, со слабым противником. Такая война – лучшее лекарство при явной угрозе крушения режима. Это (...) хорошо усвоил.

Крайности сходятся. Совсем неожиданно: «*В финансах – упадок кредитов, торговли и фабрик, истребление государственных лесов. В юстиции – взятки, безнравственность. В министерстве внутренних дел – совершеннейший упадок полиции и безнаказанность губернаторов. В военном министерстве – расхищения*». Это – не Герцен, не цесаревич, не Салтыков-Щедрин, не утопический социалист. Не Пушкин. Это – их антагонист. Фаддей Булгарин. Голос плембса «справа». (Пикантность ситуации в том, что данный – совершенно точный анализ – напечатан не в «Колоколе», не в частном письме – в официальной записке Правительству. И – сошло! Ибо был «голос справа». За подобные суждения, скажем, в письмах тому же Правительству, то есть Государю, Бенкендорфу ссыльного Лунина упрятали ещё дальше – в Акатуй, откуда не выходили. Не вышел и Лунин, его убили... Критика «справа» возможна и похвальна – Николай смеется и аплодирует «Ревизору», говоря «и мне перепало», но министр финансов Канкрин осмеливается оспорить: не стоило смотреть эту глупую фарсу. Представить подобную ситуацию в зеркальном варианте в России невозможно: Хозяин возмущен, а министру понравилось. «Наши чувства правильные», – заявил в фельетоне Власа Дорошевича купец-черносотенец губернатору, коря того за разрешение ставить оперу «Демон»: «Там и нечистая сила, и актрисы с такими зрелыми формами...». Суждения «директоров и министров, позволивших эту оперу к показу», для черносотенца – ничто. «Ещё неизвестно, какой эти министры веры!» – «Ты о министрах полегче!» – «Министры от НАС стерпеть могут. Ежели какие гадюки или левые, – тем нельзя. А нам можно. Наши чувства правильные».)... Ничего в России не меняется, хотя до «Демона» ещё не добрались. Руки не дошли. Отличие лишь в том, что ранее губернаторы или министры увещевали черносотенцев, ныне же берут под козырёк. Однако при всем при этом Булгарин, как и цесаревич, прав – «*в наших делах господствует неимоверный беспорядок*».

Крайности сходятся.

...«Пора, давно пора! – искренне обрадовался Государь, узнав о помолвке своего флигель-адъютанта. – А кто твоя избранница?» – возник естественный вопрос. Гурко ответил. Лицо Александра заиндевело. «Надеюсь, дочь не разделяет взгляды своей матушки?» Иосиф Владимирович ответил в том духе, что свои взгляды мать его невесты в его присутствии не высказывает – «это было бы неуместно», а особых политических и прочих взглядов Мария Андреевна по молодости вряд ли имеет... То есть от ответа ушел. Государь тоже ушел – стремительно, ничего не ответив, и, вопреки обыкновению, не подав руки и не кивнув. Гурко попал в опалу. Продвижения по службе и личные контакты с Государем надолго прекратились. Я при этом разговоре не присутствовал, но Министр Двора и Уделов генерал-адъютант граф Владимир Федорович Адлерберг 1-й пересказал мне его, да и в салоне Евгения Васильевича и Александры Викторовны Богдановичей об этой конфузии толковали изрядно.

Если вы бывали в 60-х годах нашего славного девятнадцатого столетия в ресторане Палкина, что на углу Невской и Литейной першпектив – не путать со старым трактиром Палкина на углу Невского и Большой Морской, открытым аж в 1785 году и славившемся постным столом и соловьиным пением, – то в этом «Новом Палкине» в буфетной комнате с нижним ярусом оконных стекол, на которых были изображены сцены из «Собора Парижской Богоматери» Гюго, вы наверняка могли заметить симпатичного молодого человека, лет сорока, не более, с густой шевелюрой смоляных волос, чья ядовитая беседа, остроумные реплики и точные эпитеты составляли, по словам ресторанный завсегдатай знаменитого А. Ф. Кони, «один из привлекательных соблазнов этого заведения». Конечно, и кухня «у Палкина» была отменного качества – и недорого! Скажем, будничное *menu varié* из русской и французской кухни: суп – «*la potasse naturelle*»; пироги – «демидовская каша»; холодное – «разбив с циндероном»; далее – раки, роти с телятиной, пирожное – крем-брюле – всё это всего за 1 рубль 65 копеек +

графинчик водки – 50 копеек, две кружки пива – 20 копеек + чаевые. (Правда, в «Малом Ярославце», что в конце Большой Морской, обед из четырех блюд стоил 75 копеек с пивом.) Впрочем, что говорить о ресторанах – только аппетит нагнетать и расстраиваться... Так вот, помимо прекрасной кухни, бильярдной и бассейна со стерлядью, приманкой «Палкина» в те времена был упомянутый Николай Федорович Щербина – некогда хорошо известный поэт, мастер изысканных антологических стихотворений из древнегреческой жизни и острослов. Всегда чуть подшофе, Николай Федорович с невозмутимым видом как бы *à propos* импровизировал свои изящные, на грани приличия эпиграммы, сатиры или просто *bon mot*. Особым успехом пользовался его Сонник, а точнее – «Сонник современной русской литературы, расположенный в алфавитном порядке и служащий необходимым дополнением к известному “Соннику Мартына Задеки”». Даже после смерти 48-лет него поэта большая часть Сонника не была издана в силу «неприличия тона», однако завсегдатаи «Палкина» многое знали наизусть. Зол, беспощаден и меток был г-н Щербина. Так, к примеру, читаем: *«Соллогуба графа во сне видеть предвещает взять и не отдать; иногда же предвещает с изумлением увидеть на мраморном пьедестале роскошную севрскую вазу, наполненную болотной тиной и смрадным навозом и прикрытую сверху букетами камелий»*. Или на литеру «Н»: *«Некрасова во сне видеть предвещает из житейской необходимости войти в связи с пустым и пошлым человеком (в роде Ивана Панаева)»*. А вот и то, что мы искали – литера «С»: *«Сальяс графиню видеть во сне предвещает выцарапать глаза человеку, принадлежащему к другому литературному муравейнику»*.

Графиня, теща будущего генерала-фельдмаршала, освободителя Болгарии, Елисавета Васильевна Салиас-де-Турнемир (урожденная Сухово-Кобылина), действительно отличалась острым и недобрый языком, неистовым темпераментом, беспощадностью суждений, непримиримостью своих независимых позиций по многим вопросам. Ядовито и возмущенно обрушилась, скажем, на роман «Отцы и дети», хотя именно автор этого романа был ее близким другом и когда-то открыл ей дорогу в большую литературу, предсказав блестящее будущее. Не пощадила и своего сына – Евгения Салиаса, известного писателя – «русского Дюма», автора шумевшего тогда романа «Пугачевцы». Все это было бы ничего и вряд ли занимало бы внимание Его Императорского Величества, ежели бы не два обстоятельства.

Во-первых, Елисавета Васильевна сама была писателем. И хорошим писателем, что неудивительно, учитывая ее блестящее образование и несомненное литературное дарование – семейное свойство. Ее родной брат – автор «Свадьбы Кречинского», «Дела» и пр. Содержание ее лучших, несколько растянутых повестей сегодня кажется наивным: безликие безвольные герои – слабые «отпечатки» Печорина, коих автор презирает, и добродетельные, невинно страдающие героини. И Любовь – главный персонаж творений графини. Вот это было написано с жаром и увлеченностью. Однако все произведения *Евгении Тур* (под этим псевдонимом издавалась Елисавета Васильевна Салиас), особенно поздние – детские («Последние дни Помпеи» или «Катакомбы», читаемые и в XX веке с удовольствием), написаны хорошим, ясным, живым и изящным русским языком. Впрочем, не это так насторожило Государя. Графиня была популярным и любимым писателем – это уже опаснее! Настолько, что, к примеру, «Современник», печатавший ее сочинения, в 1850 году объявил, что публикация нового романа г-на Некрасова «Мертвое озеро» откладывается, «дабы дать место ожидаемому с нетерпением новому роману «Племянница» г-жи Тур – автору так понравившегося романа “Ошибка”». А ее чрезмерная популярность, наложенная на непримиримый характер и бескомпромиссность суждений, усугублялась политическими взглядами. Она была либералом самого левого радикального толка. Это – во-вторых. Свои взгляды, включавшие в себя, в том числе, «ораторствование о свободе, равенстве, необходимости борьбы с правительством» (свидетельство Е. М. Феоктистова – друга и соиздателя графини) мадам Салиас с неукротимой энергией высказывала в своих салонах в Париже и, главное, в Москве, а там бывали Т. Н. Грановский, П. Н. Кудрявцев, И. С. Тургенев, А. Н. Афанасьев и многие другие «западники» и либералы – и на стра-

ницах «Русского вестника» (который ей пришлось покинуть – характер!), «Русской речи» – ее собственного журнала, соединившегося позже с «Московским вестником» Е. Феокистова, и на студенческих сходках, что совсем уж *моветон*. Да ещё и переписка с Герценом! Это уж было слишком. Посему за графиней Салиас-де-Турнемир с соизволения Императора был установлен негласный контроль. А тут флигель-адъютант и доверенный друг надумал жениться на дочери этой особы...

Несмотря на реакцию Государя, флигель-адъютант Гурко женился на своей избраннице, и прожили они долгую и счастливую жизнь. Бывали трения: Гурко ненавидел высший свет, был спартанцем во всех смыслах этого слова, жил, повинуюсь только своим жизненным принципам и своему пониманию пользы Отечества, супруга же... она была женщиной, а посему находила радость жизни в субстанциях противоположных... Кто с этим не сталкивался?! Но прожили они долго и счастливо и умерли... Нет, не в один день, – с разницей в пять лет, но похоронены были вместе. В имении фельдмаршала в Сахарове под Тверью, в родовом склепе среди берез, лиственниц, реликтовых пихт парка, созданного руками прославленного полководца.

Вместе их и откопали. «*Смердящие генеральские останки душиителя рабочих и крестьян убраны. На этом месте теперь цветут цветы пролетарской культуры и знаний*», – писала «Тверская правда» 28 мая 1925 года – и писала правду. Здание родовой усыпальницы было превращено в библиотеку воинской части, расположившейся в усадьбе. Библиотека просуществовала недолго – прикрыли за ненадобностью, парк бессистемными вырубками погубили, главное здание усадьбы разрушилось. Останки великого полководца XIX века и его жены захоронили вблизи, в мелиоративной канаве.

Понять логику российской ментальности нет никакой возможности. Что с Рождеством – Новым годом, что с флагами – гимнами, что с праздниками: годовщину *октябрьской* революции отмечали в *ноябре*, что с неонацистами в гостеприимном Ленинграде— Петербурге, что с полководцами – душителями. Гурко – душитель. А, скажем, Суворов – он не душитель, только великий полководец. Однако будущий генералиссимус, а не освободитель Болгарии, неистово гонялся за Пугачевым – не догнал, опередили, зато в целостности и сохранности доставил «народного защитника» в Москву в клетке, да ещё привязанного для надежности к телеге. Всегда поражался двум равнозначным героям русской истории, украшавшим все ее учебники: «предтеча большевиков» Пугачев и «верный сын отечества, отец солдатам и патриот» Суворов. Забавный иконостас. И *фельдмаршала* Суворов получил не за победу над «супостатом – бусурманом – турецким пашой», а за взятие предместья Варшавы – Праги – и подавление польского восстания, предводителем которого был Костюшко – «национальный герой Польши, Литвы, Белоруссии...» (в Петербурге сосуществуют Суворовский проспект и улица Костюшко!). Вот уж сколько славянской крови было войсками Суворова пролито – немерено, поляки до сих пор помнят и ненавидят братьев по крови. Можно ли в Польше представить улицу имени Суворова или Паскевича!? Однако останки Суворова никто не тревожил – и слава Богу! *Душителю же рабочих и крестьян*, назначенный временным генерал-губернатором Санкт-Петербурга после выстрелов Леона Мирского в шефа жандармов Александра Дрентельна и Александра Соловьева в Александра Второго – нужен был такой бесстрашный, энергичный и честный человек, как Гурко, герой закончившейся войны, – этот самый Гурко отменил вынесенный военным окружным судом смертный приговор Мирскому, заменив его пожизненной каторгой. Государь выразил крайнее неудовольствие («не ожидали от тебя неуместного милосердия»). Однако Гурко своего мнения не изменил. Милосердием он не отличался, наоборот, слыл жестким и часто – жестоким человеком (Наместник на Кавказе, великий князь Михаил Николаевич, воспротивился назначению Гурко на пост Главнокомандующего в вверенном ему крае – «слишком жесток»). Как писал Е. М. Феокистов – тот самый, помните: соиздатель и друг либеральнейшей графини Салиас, тот самый Феокистов, который проделал удивительный путь от издателя «Отечественных записок» до главного цензора России, своим указом запретившего и закрыв-

шего свой журнал, – этот самый Феоктистов вспоминал: «По мнению его /Гурко/ недоброжелателей, он обнаружил будто бы милосердие из жажды популярности... Я видел Гурко поздно вечером того дня, когда состоялось решение, и знаю в точности, какие мотивы руководили им. Он не мог не обратить внимания на то, что Мирский едва достиг совершеннолетия и был не столько закоренелым злодеем, сколько сбитым с толку революционной пропагандой мальчишкой. Плюс какая-то любовная история...» Генерал-губернатор действовал, сообразуясь исключительно со своими воззрениями.

Сообразуясь со своими воззрениями, он выстраивал свое поведение командующего и воина. Во время беспрецедентного зимнего перехода через Балканы, соизмеримого лишь с легендарным переходом Суворова через Альпы (с той лишь разницей, что нечеловеческие и героические усилия армии Суворова не имели практического результата – не по вине солдат или полководца; переход же войск Гурко окончился взятием Софии и, фактически, победным завершением кампании, освобождением Болгарии). Во время этого перехода, как известно, *«всем подавал пример личной выносливости, бодрости и энергии, деля наравне с рядовыми войнами все трудности перехода, лично руководя подъемом и спуском артиллерии по обледенелым горным кручам, ночевал у костров, довольствовался, как и солдаты, сухарями»*. И делалось это естественно и легко, как и подобает воину по призванию. Далеко не все подчинённые ему командиры его любили (великий князь Александр Александрович – впоследствии Александр Третий – откровенно терпеть его не мог, не простив того, что командование гвардией во время балканской кампании было возложено на Гурко, а не на него – Александра: во время тостов, провозглашаемых впоследствии Императором за генерала, наследник демонстративно отставлял свой бокал), любили не все, но все уважали и боялись. Не боялись солдаты: они командующего боготворили и подчинялись беспрекословно. Когда во время перехода через самый неприступный перевал доложили, что пушки на руках не поднять, «железный генерал» своим привычным металлическим голосом негромко властно сказал: «Втащить зубами». Втащили.

В конце XX века протоиерей Геннадий Ульянич озаботился поисками останков генерала – героя последней Турецкой компании и его супруги. Характерно для нынешней России – озаботилось духовное лицо, а не государственные мужи или командующие армией, которая опять называлась российской. Более четырех лет продолжались поиски. Если бы не цепь случайностей, не нашли бы. Короче, под толстым старым деревом в парке, под свалкой мусора откопали недостроенный кирпичный склеп. На самом дне, в обломках бетонной трубы, обнаружили лакированные сапожки, в которых была похоронена Мария Андреевна, а под следующим слоем земли – все то, что осталось от праха генерал-фельдмаршала, бывшего генерал-губернатора Петербурга, кавалера орденов св. апостола Андрея Первозванного, святого Александра Невского с алмазами, св. Владимира I и III степеней, св. Анны I степени, Георгиевского кавалера (II и III степеней и золотого оружия), св. Станислава I и II степеней, «Белого Орла» и пр., пр.

...Всё это – Гурко и семейство Салиас, Феоктистов и Щербина, ресторан Палкина и ресторан «Медведь», полки лейб-гвардии и Государь Император, так же, как и Мирский, Соловьев, Нечаев, как вилла «Роде», коньяк потомков вольноотпущенного крестьянина генерала Измайлова – Леонтия Шустова – или магазины потомков вольноотпущенного садовника графа Шереметьева – Петра Елисеева, конки на Невском и гулянья в Летнем саду, и женщины: очаровательные, манящие и недоступные женщины Петербурга – все это мой Город, исчезнувший, как сказочный Китеж.

*Ужель в скитаниях по миру
Вас не пронзит ни разу, вдруг,
Молниеносною рапирой
Стальное слово «Петербург»?*

.....
*Ужели вы не проезжали
В немного странной вышине
На старомодном «имперале»
По Петербургской стороне?
Ужель, из рюмок томно-узких
Цедя зеленый пипермент,
К ногам красавиц петербургских
Вы не бросали комплимент?*
.....

Давно осталась позади Тверь, за окном мелькают темные силуэты деревьев, телеграфных столбов, строений, сливающиеся в одну рваную темно-серую ткань. Вижу: генерал от кавалерии Иосиф Владимирович Гурко – стройный, худощавый, подтянутый, в плотно облегающем мундире с одним Георгием Второй степени на груди по центру, прямо под воротником, с большими седеющими бакенбардами, – прохаживаясь вдоль дощатого походного стола, читает список офицеров лейб-гвардии Павловского полка, особо отличившихся в деле под Горним Дубняком и Телишем, открывшем дорогу на Плевну и обеспечившего успех всей компании; офицеров, представленных к наградам и очередным званиям: «...“Святой Анны” четвертой степени с надписью “За храбрость” – Яблонскому... Голубчик, – это он к адъютанту, – этот Павел Яблонский – он, кажется, прадед тому самому Яблонскому, музыканту – шалопаю, возмнившему себя писателем?..»

...Судьбы скрещенье.

Грудному ребенку место в яслях, а не в тундре!

Иосиф Францевич удачно прикупил домик. Примерно напротив его ранее трехэтажного, а ныне пятиэтажного каменного дома с изящными сандриками над окнами, белой лепниной на фасаде, окрашенного ранее в желтый «россиевский», а ныне в грязный серый цвет, располагалась рюмочная. Одна из лучших в Ленинграде.

Рюмочные были неотъемлемой частью интеллектуальной жизни Ленинграда. Они существовали до конца 70-х, потом – как корова языком. Кому они мешали?! Впрочем, понятно, кому: интеллектуальные центры не поощрялись даже в рюмочных.

То время 50-х–60-х–70-х годов отличалось причудливостью наслоений дня и ночи, их несовместимостью и взаимоисключаемостью, но, вместе с тем, взаимопритягаемостью и взаимообусловленностью. Если уж запустили первый спутник Земли, то Пастернака необходимо было смешать с землей и назвать свиньей за талантливый, но политически безобидный роман с гениальными стихами. Коли решили напечатать «Щ-854» («Один день Ивана Денисовича»), то немедленно надо раздавить художников – бессмертное «педерасы проклятые... мой внук и то лучше рисует, запретить! Всё запретить! Я приказываю! Я говорю, выкорчевать!». Ежели реабилитировать миллионы невинных и отпустить на волю оставшихся в живых, то уж обязательно залить кровью Венгрию... да и Польшу, до кучи. Коль скоро стали прорываться в нормальный мир – слепили Международный кинофестиваль, на одном из которых, благодаря неистовым стараниям Е. Фурцевой и Г. Чухрая, не пожелавших опозориться на весь мир, первый приз получил фильм Феллини (1963 год), и конкурс Чайковского, первым лауреатом которого стал американец Вэн Клайберн, то совершенно обязательно посадить писателей Андрея Синявского и Юлиа Даниэля. Это был первый срок, данный в СССР писателям как таковым. (Гумилева и Мандельштама, Ивана Катаева и Бабеля, Ясенского и Пильняка, Артема Веселого и Зарубина, Клюева и Заболоцкого, Корнилова и Васильева, Шаламова и Бродского, Белин-

кова, Коржавина и многих других ставили к стенке, гноили в лагерях, стирали в пыль, мариновали в ссылках как белогвардейских заговорщиков и наймитов, как японских, латышских, английских, немецких шпионов, как троцкистов, правых уклонистов, тунеядцев, «неблагонадежных» и пр.) Если уж достроили никому не нужный БАМ, то почему не выставить из страны Солженицына. «Венера 13» опустилась на одноименную планету – прекрасно, но как не сбить по этому поводу южнокорейский пассажирский самолет. Тогда это был только первый опыт в подобных забавах российских правителей. Так же было и с закрытием рюмочных: компенсировали либо запуск «Союз-Аполлона», либо восхождение на большевистский Олимп верного сына партии товарища Андропова или ее стойкого члена Черненко.

В рюмочной напротив бывшего семейного гнезда я был завсегдатаем. Рюмки – граненые, вмещавшие 50 грамм. То, что не дольют, не вызывало сомнений ни у покупателей, ни у продавцов, ни у ОБХСС. «Дайте две порции по 150 грамм. Можно в один стакан» – это шутка (стаканы были двухсотграммовые). Однако все с недоливом мирились. За удовольствие надо платить. А удовольствие было огромное. К пятидесятиграммовой рюмке полагался бутерброд из ржаного хлеба с одной килькой и тонким диском вкрутую сваренного яйца. Иногда – со шпротами (две штуки), реже с вареной колбасой. Рюмочная – штука удобная и комфортная и для жизни необходимая. Нечто похожее на американские стиральные машины и сенокосилки вместе взятые. Только более полезная в нашем быту. В рюмочной можно было быстро остограмниться – хлопнуть две рюмки сразу и закусить одним бутербродом, оставив нетронутым второй, что многие и делали, и идти дальше, к следующим питейным заведениям или в магазин, на службу или на свидание. Никаких прилипчивых незнакомцев, как в пивной, которым необходимо срочно излить душу, обнять за шею, дохнув ароматом всей своей прошедшей жизни, и облить чужие штаны остатками пива. Бутерброды в рюмочной к концу дня иногда горкой лежали на небранном столе. Но было и наоборот – один раз за всю историю и не со мной. Через лет этак шестьдесят после обманчивого рассвета на Москва-реке, уже в XXI веке, далеко от Рылеева, Ленинграда, России, то есть тогда, когда уже ничего не изменить и не вернуть – ни Ленинград, ни Россию, ни рюмочные, – одна знакомая рассказала эту жуткую для меня историю. Я тогда – в далекой юности – эту женщину не знал и даже не догадывался о ее существовании. С ней же случилась беременность. Дело молодое. Бывает. И у нее, как у любой беременной женщины, проявилась неумная тяга к килькам. Не к сельди, которая ещё была в продаже, не к икре, которую было не достать, но по благу все же можно, не к соленым огурцам из бочек – на рынке, да и в магазинах, их было навалом: большие, пузатые, хлюпающие во рту, брызгающие рассолом на всех окружающих, но невероятно вкусные. Только кильки могли удовлетворить ее беременную душу и одноименный организм. Но кильки как раз и исчезли. Причем исчезли в магазинах. В рюмочных были, а в магазинах – нет. Это как с соками из фруктов, которых – фруктов – в помине не было. Короче, голь на выдумки хитра. Моя новая знакомая в те незнакомые времена нашла выход. Она забегала в рюмочную, брала «две по пятьдесят», съедала два бутерброда с килькой, а водку – 100 грамм! – отдавала алкашам вроде меня. И летела счастливая на работу. Я об этом не знал. Самое обидное то, что та рюмочная находилась на улице Моховой, между бывшим Брянцевским – ТЮЗом – и Белинского. Почти напротив Театрального института – детища Л. Вивьена и Музыкального училища им. Мусоргского. Что было первично, а что вторично: рюмочную открыли поближе к этим очагам культуры и воспитания творческой молодежи, или эти два очага разместили в надежде, что поблизости будет рюмочная, дабы студенты и студентки, доценты с кандидатами и прочие народные артисты не утомляли ноги частыми перебежками, – что было первично, что вторично, не знаю. Знаю лишь, что меня в тот момент в этой рюмочной не было, и дары природы, то есть беременной Ларисы, я не получал. По сей день горюю, что проходил мимо рюмочной на Моховой в те знаменательные дни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.